

ИОСИФ  
БРОДСКИЙ

УРАНИЯ



АРДИС





ИОСИФ  
БРОДСКИЙ

УРАНИЯ

АРДИС

**Copyright © 1987 by Joseph Brodsky  
All rights reserved under International and Pan-American  
Copyright Conventions.**

**Printed in the United States of America**

**Ardis Publishers  
2901 Heatherway  
Ann Arbor, Michigan 48104**

**Library of Congress Cataloging in Publication Data**

**Brodskii, Iosif, 1940-  
[Urania, Iosif Brodskii].**

**Poems.**

**I. Title.**

**PG3479.4.R64U7 1987 891.71'44 85-5984**

**ISBN 0-88233-840-4 (alk. paper)**

**ISBN 0-88233-841-2**

***ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА***



\* \* \*

Как давно я топчу, видно по каблуку.  
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.  
То и приятно в громком кукареку,  
что звучит как вчера.  
Но и черной мысли толком не закрепить,  
как на лоб упавшую косо прядь.  
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,  
реже сбываться, не засорять  
времени. Нищий квартал в окне  
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,  
в лицо запомнить жильца, а не  
как тот считает, наоборот.  
И по комнате точно шаман кружка,  
я наматываю как клубок  
на себя пустоту ее, чтоб душа  
знала что-то, что знает Бог.

## РАЗВИВАЯ ПЛАТОНА

### I

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река  
высовывалась бы из-под моста, как из рукава — рука,  
и чтобы она впадала в залив, растопырив пальцы,  
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-  
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;  
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере  
бормотал бы, скав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.  
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб  
я узнавал бы о наступлении воскресенья  
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмепе руб.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой  
там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,  
самые главные — пенальти и угловой.

### II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых  
я листал бы тома с таким же количеством запятых,  
как количество скверных слов в ежедневной речи,  
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,  
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленої пальмы в витрине авиалиний  
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облекает квартал в рядно,  
я б скучал в Галлерее, где каждое полотно

— особливо Энгра или Давида —  
как родимое выглядели бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне стада  
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда  
мимо стройных нагих колонн с дорической  
прической,  
безмятежно белеющих на фронтоне Суда.

### III

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,  
где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже  
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги  
надолго сосредотачивается на вилке или ноже.

Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,  
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;  
и портрет висел бы в гостиной, давая вам  
представленье  
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.

Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,  
не имеющих отношения к ужину при свечах,  
и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый  
отблеск  
на зеленое платье. Но под конец зачах.

Время, текущее в отличие от воды  
горизонтально от вторника до среды,  
в темноте там разглаживало бы морщины  
и стирало бы собственные следы.

### IV

И там были бы памятники. Я бы знал имена  
не только бронзовых всадников, всунувших в стремена  
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,  
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшой к губе  
сигаретою сильно заполночь возвращаясь пешком к себе,  
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте  
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,  
подрывную активность, бродяжничество, менаж-  
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,  
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» —

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,  
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри  
то, на что ты так долго глядел снаружи;  
Запоминай же подробности, восклицая «Vive la Patrie!»

## ПОСВЯЩАЕТСЯ СТУЛУ

### I

Март на исходе. Радостная весть:  
день удлинился. Кажется, на треть.  
Глаз чувствует, что требуется вещь,  
которую пристрастно рассмотреть.  
Возьмем за спинку некоторый стул.  
Приметы его вкратце таковы:  
зажат между невидимых но скул  
пространства (что есть форма татарвы),  
он что-то вроде метра в высоту  
на сорок сантиметров в ширину  
и сделан, как и дерево в саду,  
из общей (как считалось в старину)  
коричневой материи. Что сухо  
считается камуфляжем в Царстве Духа.

### II

Вещь, помещенной будучи, как в Аш-  
два-О, в пространство, презирая риск,  
пространство жаждет вытеснить; но ваш  
глаз на полу не замечает брызг  
пространства. Стул что твой наполеон  
красуется сегодня где вчерась.  
Что было бы здесь, если бы не он?  
Лишь воздух. В этом воздухе б вилась  
пыль. Взгляд бы не задерживался на  
пылинке, но, блуждая по стене,  
он достигал бы вскорости окна;  
достигнув, устремлялся бы вовне,  
где нет вещей, где есть пространство, но  
к вам вытесненным выглядит оно.

### III

На мягкий в профиль смахивая знак  
и «восемь» но квадратное в анфас,  
стоит он в центре комнаты, столь наг,  
что многое притягивает глаз.  
Но это — только воздух. Между ног  
(коричневых, что важно — четырех)  
лишь воздух. То есть, дай ему пинок,  
скинь все с себя — как об стену горох.  
Лишь воздух. Вас охватывает жуть.  
Вам остается, в сущности, одно:  
вскочив, его рывком перевернуть.  
Но максимум, что обнажится — дно.  
Фанера. Гвозди. Пыльные штыри.  
Товар из вашей собственной ноздри.

### IV

Четверг. Сегодня стул был не у дел.  
Он не переместился. Ни на шаг.  
Никто на нем сегодня не сидел,  
не двигал, не набрасывал пиджак.  
Пространство, точно изморось — пчелу,  
вещь, пользуясь коеи перестал  
владелец, превращает ввечеру  
(пусть временно) в коричневый кристалл.  
Стул напрягает весь свой силуэт.  
Тепло; часы показывают шесть.  
Всё выглядит как будто его нет,  
тогда как он в действительности есть!  
Но мало ли чем жертвуют, вчера  
от завтра отличая, вечера.

### V

Материя возникла из борьбы,  
как явствуют преданья старины.  
Мир создан был для мебели, дабы  
создатель мог взглянуть со стороны

на что-нибудь, признать его чужим,  
оставить без внимания вопрос  
о подлинности. Названный режим  
материи не обещает роз,  
но гвозди. Впрочем, если бы не гвоздь,  
всё сразу же распалось бы, как есть,  
на рейки, перекладины. Ваш гость  
не мог бы, при желании, присесть.  
Составленная из частей, везде  
вещь держится в итоге на гвозде.

## VI

Стул состоит из чувства пустоты  
плюс крашеной материи; к чему  
прибавим, что пропорции просты  
как тыщи отношенье к одному.  
Что знаем мы о стуле, окромя  
того, что было сказано в пылу  
полемики? — что всеми четырьмя  
стоит он, точно стол ваш, на полу?  
Но стол есть плоскость, режущая грудь.  
А стул ваш вертикальностью берёт.  
Стул может встать, чтоб лампочку ввернуть,  
на стол. Но никогда наоборот.  
И, вниз пыльцой, переплетенный стебель  
вмиг озарит всю остальную мебель.

## VII

Воскресный полдень. Комната гола.  
В ней только стул. Ваш стул переживет  
вас, ваши безупречные тела,  
их плотно облегавший шевиот.  
Он не падет от взмаха топора,  
и пламенем ваш стул не удивишь.  
Из бурных волн под возгласы «ура»  
он выпрыгнет проворнее, чем фиш.  
Он превзойдет употребленьем гимн,

язык, вид мироздания, матрас.  
Расшатан, он заменится другим,  
и разницы не обнаружит глаз.  
Затем что — голос вещь, а не зловещ —  
материя конечна. Но не вещь.

## ШОРОХ АКАЦИИ

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска  
уводят людей из города. По вечерам — тоска.  
В любую из них спокойно можно ввести войска.  
И только набравши номер одной из твоих подруг,  
не уехавшей до сих пор на юг,  
насторожившись, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй  
переменился: все чаще на светофорах — «Стой».  
Приобретая газету, её начинаешь с той  
колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.  
Ибсен тяжеловесен, А.П.Чехов претит.  
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там  
и находится Запад, где выручают дам,  
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,  
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,  
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.  
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.  
Это одно способно привести вас в восторг.  
Единственное, что выдает Восток,  
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,  
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,  
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,  
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,  
в ванной комнате, в четыре часа утра,  
из овального зеркала над раковиной, в которой бурлит  
моча  
на тебя таращится, скжав рукоять меча,  
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

\* \* \*

Восходящее желтое солнце следит косыми  
глазами за мачтами голой рощи,  
идущей на всех парах к цусиме  
Крещенских морозов. Февраль короче  
прочих месяцев и оттого лютее.  
Кругосветное плавание, дорогая,  
лучше кончить, руку согнув в локте и  
вместе с дредноутом доторая  
в недрах камина. Забудь цусиму!  
Только огонь понимает зиму.  
Золотистые лошади без уздечек  
масть в дымоходе меняют на масть воронью.  
И в потемках стрекочет огромный нагой кузнецик  
которого не накрыть ладонью.

## ШВЕДСКАЯ МУЗЫКА

*K. X.*

Когда снег заметает море и скрип сосны  
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,  
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины  
может упасть безучастный голос?  
Пропадая без вести из виду, мир вовне  
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.  
...так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,  
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,  
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,  
так стенные часы, сердцебиенью вторя,  
остановившись по эту, продолжают идти по ту  
сторону моря.

## BAGATELLE

*Елизавете Лионской*

### I

Помраченье июльских бульваров, когда, точно деньги во  
сне,  
пропадают из глаз, возмущенно шурша, миллиарды,  
как сдача, звезда дребезжит, серебрясь в желтизне  
не от мира сего замусоленной ласточкой карты.

Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,  
сокращает красавиц до профилей в ихних камеях;  
от великой любви остается лишь равенства знак  
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.

И ночной аквилон, рыхлой мышце ища волокно,  
как возможную жизнь, теребит взбаламученный гарус,  
разодрав каковой, от земли отплывает фоно  
в самодельную бурю, подняв полированный парус.

### II

Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в  
так наз.  
разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком.  
Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас,  
воскресавших со скоростью набранной к ночи курьерским.

И всегда за спиной, как отбросив костишки, рука  
то ли машет вслед, в направлены растряченных денег,  
то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака  
из-под пальцев аккордом бренчашую сумму ступенек.

Но чем ближе к звезде, тем всё меньше перил; у квартир —  
вид неправильных туч, зараженных квадратностью, тюлем,  
и версте, чью спираль граммофон до конца раскрутил,  
лучше броситься под ноги взапуски замершим стульям.

### III

Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,  
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,  
обращается к звуку, к его серебру в соловье,  
центробежной иглой разгоняя масштаб круговорти.

Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи  
в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,  
руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи  
к бытию вне себя, в просторечье — к его безголосью.

Так лучи подбирают пространство: так пальцы слепца  
... способны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!»,  
Освещённая вещь обрастает чертами лица.  
Чем пластинка черней, тем её доиграть невозможней.

## **ПОЛДЕНЬ В КОМНАТЕ**

### I

Полдень в комнате. Тот покой,  
когда наяву, как во  
сне, пошевелив рукой,  
не изменить ничего.

Свет проникает в окно, слепя.  
Солнце, войдя в зенит,  
луч кладя на паркет, себя  
этим деревянит.

Пыль, осевшая в порах скул.  
Калорифер картав.  
Тело, застыв, продлевает стул.  
Выглядит, как кентавр.

### II

Вспять оглянувшийся: тень, затмив  
профиль, чье ремесло —  
затвердевать, уточняет миф,  
повторяя число

членов. Их — переход от слов  
к цифрам не удивит.  
Глаз переводит, моргнув, число в  
несовершенный вид.

Воздух, в котором ни встать, ни сесть,  
ни, тем более, лечь,  
воспринимает «четыре», «шесть»,  
«восемь» лучше, чем речь.

### III

Я родился в большой стране,  
в устье реки. Зимой  
она всегда замерзала. Мне  
не вернуться домой.

Мысль о пространстве рождает «ах»,  
оперу, взгляд в лорнет.  
В цифрах есть нечто, чего в словах,  
даже крикнув их, нет.

Птица щебечет, из-за рубежа  
вернувшись в свое гнездо.  
Муха бьется в стекле, жужжа  
как «восемьдесят». Или — «сто».

### IV

Там был город, где, благодаря  
точности перспектив,  
было вдогонку бросаться зря,  
что-либо упустив.

Мост над замерзшей рекой в уме  
сталью своих хрящей  
мысли рождал о другой зиме —  
то есть, зиме вещей,

где не встретить следов; рельеф  
выглядит, как стекло.  
Только маятник, замерев,  
источает тепло.

### V

Воздух, бесцветный и проч., зато  
необходимый для  
существования, есть ничто,  
эквивалент нуля.

Странно отсчитывать от него  
мебель, рога лося,  
себя; задумываться, «ого»  
в итоге произнося.

Взятая в цифрах, вещь может дать  
тамерланову тьму,  
род астрономии. Что подстать  
воздуху самому.

## VI

Там были также ряды колонн,  
забредшие в те снега,  
как захваченные в полон,  
раздетые донага.

В полдень, гордясь остротой угла,  
как возвращенный луч,  
обезболивала игла  
содержимое туч.

Слово, сказанное наугад,  
вслух, даже слово лжи,  
воспламеняло мозг, как закат  
верхние этажи.

## VII

Воздух, в сущности, есть плато,  
пат, вечный шах, тщета,  
ничья, классическое ничто,  
гегелевская мечта.

Что исторгает из глаз ручьи.  
Полдень. Со стороны  
мозг неподвижней пластинки, чьи  
бороздки засорены.

Полдень; жевательный аппарат  
пробует завести,  
кашлянув, плоский пи-эр-квадрат —  
музыку на кости.

### VIII

Там были комнаты. Их размер  
порождал ералаш,  
отчего потолок, в чей мел  
взор устремлялся ваш,

только выигрывал. Зеркала  
копили там дотемна  
пыль, оседавшую, как зола  
Геркуланума, на

обитателей. Стопки книг,  
стулья, в окне — слюда  
инея. То, что случалось в них,  
случалось там навсегда.

### IX

Звук уступает свету не в  
скорости, но в вещах,  
внятных даже окаменев,  
обетшав, обнищав.

Оба преломлены, искажены,  
сокращены: сперва —  
до потёмок, до тишины;  
превращены в слова.

Можно вспомнить закат в окне,  
либо — мольбу, отказ.  
Оба счастливы только вне  
тела. Вдали от нас.

## X

Я был скорее звуком, чем —  
стыдно сказать — лучом  
в царстве, где торжествует чернь,  
прикидываясь грачом

в воздухе. Я ночевал в ушных  
раковинах: ласкал  
впадины, как иной жених —  
выпуклости; пускал

петуха. Но, устремляясь ввысь,  
звук скидывает балласт:  
сколько в зеркало ни смотришь,  
оно эха не даст.

## XI

Там принуждали носить пальто  
ибо холод лепил  
тело, забытое теми, кто  
раньше его любил,

мраморным. Т.е. без лёгких, без  
имени, черт лица,  
в нише, на фоне пустых небес,  
на карнизе дворца.

Там начинало к шести темнеть.  
В восемь хотелось лечь.  
Но было естественней каменеть  
в профиль, утратив речь.

## XII

Двуногое — впрочем, любая тварь  
(ящерица, нетопырь) —  
прячет в своих чертах букварь,  
клеточную цифирь.

Тело, привыкшее к своему  
присутствию, под ремнем  
и тканью, навязывает уму  
будущее. Мысль о нем.

Что — лишнее! Тело в анфас уже  
само есть величина!  
сумма! Особенно — в неглиже,  
и лампа не включена.

### XIII

В будущем цифры рассеют мрак.  
Цифры не умира.  
Только меняют порядок, как  
телефонные номера.

Сонм их, вечным пером привит  
к речи, расширит рот,  
удлинит собой алфавит;  
либо наоборот.

Что будет выглядеть, как мечтой  
взысканная земля  
с синей, режущей глаз чертой —  
горизонтом нуля.

### XIV

Или — как город, чья красота,  
неповторимость чья  
была отраженьем своим сыта,  
как Нарцисс у ручья.

Так размножаются камень, вещь,  
воздух. Так зрелый муж,  
осознавший свой жуткий вес,  
не избегает луж.

Так, по выпуклому лицу  
памяти всеми пятью скребя,  
ваше сегодня, подстать слепцу,  
опознает себя.

## XV

В будущем, суть в амальгаме, суть  
в отраженном вчера  
в столбике будет падать ртуть,  
летом — жужжать пчела.

Там будут площади с эхом, в сто  
превосходящим раз  
звук. Что только повторит то,  
что обнаружит глаз.

Мы не умрем, когда час придет!  
Но посредством ногтя  
с амальгами нас соскребет  
какое-нибудь дитя!

## XVI

Знай, что белое мясо, плоть,  
искренний звук, разгон  
мысли ничто не повторит — хоть  
наплоди легион.

Но, как звезда через тыщу лет,  
ненужная никому,  
что не так источает свет,  
как поглощает тьму,

следя дальше, чем тело, взгляд  
глаз, уходя вперед,  
станет назад посыпать подряд  
всё, что в себя вберет.

# РОТТЕРДАМСКИЙ ДНЕВНИК

## I

Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.  
Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.  
Четыре дня они бомбили город,  
и города не стало. Города  
не люди прячутся в подъезде  
во время ливня. Улицы, дома  
не сходят в этих случаях с ума  
и, падая, не призывают к мести.

## II

Июльский полдень. Капает из вафли  
на брючину. Хор детских голосов.  
Вокруг — громады новых корпусов.  
У Корбюзье то общее с Лютваффе,  
что оба потрудились от души  
над переменой облика Европы.  
Что позабудут в ярости циклопы,  
то трезво завершат карандаши.

## III

Как время ни целебно, но кулья,  
не видя средств отличия от цели,  
саднит. И тем сильней — от панацеи.  
Ночь. Три десятилетия спустя,  
мы пьем вино при крупных летних звездах  
в квартире на двадцатом этаже —  
на уровне, достигнутом уже  
взлетевшими здесь некогда на воздух.

Роттердам, июль 1973 г.

## НАД ВОСТОЧНОЙ РЕКОЙ

Боясь расплескать, проношу головную боль  
в сером свете зимнего полдня вдоль  
оловянной реки, уносящей грязь к океану,  
разделившему нас с тем размахом, который глаз  
убеждает в мелочных свойствах масс.  
Как заметил гном великану.

В на-попа поставленном царстве, где мощь крупиц  
выражается дробью подметок и взглядом ниц,  
испытующим прочность гравия в Новом Свете,  
все, что помнит твердое тело про  
*vita sua* — чужого бедра тепло  
да сухой букет на буфете.

Автостадо гремит; и глотает свой кислород,  
схожий с локтем на вкус, углекислый рот;  
свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.  
Голова болит, голова болит.  
Ветер волосы шевелит  
на больной голове моей в буром парке.

1974

## ВОЙНА В УБЕЖИЩЕ КИПРИДЫ

Смерть поступает в виде пули из  
магнолиевых зарослей, попарно.  
Взрыв выглядит как временная пальма,  
которую раскачивает бриз.

Пустая вилла. Треснувший фронтон  
со сценами античной рукопашной.  
Пылает в море новый Фаэтон,  
с гораздо меньшим грохотом упавший.

И в позах для рекламного плаката  
на гальке раскаленной добела  
маячат неподвижные тела,  
оставшись загорать после заката.

21 июля 1974 г.

## СТРОФЫ

### I

Наподобье стакана,  
оставившего печать  
на скатерти океана,  
которого не перекричать,  
светило ушло в другое  
полушарие, где  
оставляют в покое  
только рыбу в воде.

### II

Вечером, дорогая,  
здесь тепло. Тишина  
молчанием попугая  
буквально завершена.  
Луна в кусты чистотела  
льет свое молоко:  
неприкосновенность тела,  
зашедшая далеко.

### III

Дорогая, что толку  
пререкаться, вникать  
в случившееся. Иголку  
больше не отыскать  
в человеческом сене.  
Впору вскочить, разя  
тень; либо — вместе со всеми  
передвигать ферзя.

## IV

Все, что мы звали личным,  
что копили, греша,  
время, считая лишним,  
как прибой с голыша,  
стачивает — то лаской,  
то посредством резца —  
чтобы кончить цикладской  
вещью без черт лица.

## V

Ах, чем меньше поверхность,  
тем надежда скромней  
на безупречную верность  
по отношению к ней.  
Может, вообще пропажа  
тела из виду есть  
со стороны пейзажа  
дальнозоркости месть.

## VI

Только пространство кόрысть  
в тычущем вдаль персте  
может найти. И скорость  
света есть в пустоте.  
Так и портится зренье:  
чем ты дальше проник;  
больше, чем от старенья  
или чтения книг.

## VII

Так же действует плотность  
тьмы. Ибо в смысле тьмы  
у вертикали плоскость

сильно берет взаймы.  
Человек — только автор  
сжатого кулака,  
как сказал авиатор,  
уходя в облака.

### VIII

Чем безнадежней, тем как-то  
проще. Уже не ждешь  
занавеса, антракта,  
как пылкая молодежь.  
Свет на сцене, в кулисах  
меркнет. Выходишь прочь  
в рукоплесканье листьев,  
в американскую ночь.

### IX

Жизнь есть товар на вынос:  
торса, пениса, лба.  
И географии примесь  
к времени есть судьба.  
Нехотя, из-под палки,  
признаешь эту власть,  
подчиняешься Парке,  
обожающей прясть.

### X

Жухлая незабудка  
мозга кривит мой рот.  
Как тридцать третья буква,  
я пячусь всю жизнь вперед.  
Знаешь, все, кто далече,  
по ком голосит тоска —  
жертвы законов речи,  
запятых, языка.

## XI

Дорогая, несчастных  
нет, нет мертвых, живых.  
Всё — только пир согласных  
на их ножках кривых.  
Видно, сильно превысил  
свою роль свинопас,  
чей нетронутый бисер  
переживает всех нас.

## XII

Право, чем гуще россыпь  
черного на листе,  
тем безразличней особь  
к прошлому, к пустоте  
в будущем. Их соседство,  
мало проча добра,  
лишь ускоряет бегство  
по бумаге пера.

## XIII

Ты не услышишь ответа,  
если спросишь «куда»,  
так как стороны света  
сводятся к царству льда.  
У языка есть полюс,  
где белизна сквозит  
сквозь эльзевир; где голос  
флага не водрузит.

## XIV

Бедность сих строк — от жажды  
что-то спрятать, сберечь;  
обернуться. Но дважды

в ту же постель не лечь.  
Даже если прислуга  
не меняет белье,  
здесь не Сатурн, и с круга  
не соскочить в нее.

## XV

С той дурной карусели,  
что воспел Гесиод,  
сходят не там, где сели,  
но где ночь застает.  
Сколько глаза ни колешь  
тьмой — расчетом благим  
повторимо всего лишь  
слово: словом другим.

## XVI

Так барабанка на вертел  
нижут, разводят жар.  
Я, как мог, обессмертил  
то, что не удержал.  
Ты, как могла, простила  
все, что я натворил.  
В общем, песня сатира  
вторит шелесту крыл.

## XVII

Дорогая, мы квивы.  
Больше: друг к другу мы  
точно оспа привиты  
среди общей чумы.  
Лишь объекту злоречья,  
вместе с шансом в пятно  
уменьшаться, предплечье  
в утешенье дано.

## XVIII

Ах, за щедрость пророчеств —  
дней грядущих шантаж —  
как за бич наших отчеств,  
память, много не дашь.  
Им присуща, как аист  
свёртку, приторность кривд.  
Но мы живы, покамест  
есть прощенье и шрифт.

## XIX

Эти вещи солются  
в свое время в глазу  
у воззрившихся с блюдца  
на пестроту внизу.  
Полагаю, и вправду  
хорошо, что мы врозвь,  
чтобы взгляд астронавту  
напрягать не пришлось.

## XX

Вынь, дружок, из кивота  
лик Пречистой Жены.  
Вставь семейное фото —  
вид планеты с Луны.  
Снять нас вместе мордатый  
не сподобился друг,  
проморгал соглядатай;  
в общем, всем недосуг.

## XXI

Неуместней, чем ящер  
в филармонии, вид  
нас вдвоем в настоящем.

Тем верней удивит  
обитателей завтра  
разведенная здесь  
сильных чувств динозавра  
и кириллицы смесь.

## XXII

Эти строчки по сути  
болтовня старика.  
В нашем возрасте судьи  
удлиняют срока.  
Иванову. Петрову.  
Своей хрупкой кости.  
Но свободному слову  
не с кем счеты свести.

## XXIII

Так мы лампочку тушим,  
чтоб сшибить табурет.  
Разговор о грядущем —  
то́т же старческий бред.  
Лучше всё, дорогая,  
доводить до конца,  
темноте помогая  
мускулами лица.

## XXIV

Вот конец перспективы  
нашей. Жаль, не длинней.  
Дальше — дивные дива  
времени, лишних дней,  
скачек к финишу в шорах  
городов и т.п.;  
лишних слов, из которых  
ни одно о тебе.

## XXV

Около океана,  
летней ночью. Жара,  
как чужая рука на  
темени. Кожура  
снятая с апельсина  
жухнет. И свой обряд,  
как жрецы Элевсина,  
мухи над ней творят.

## XXVI

Облокотясь на локоть,  
я слушаю шорох лип.  
Это хуже, чем грохот  
и знаменитый всхлип.  
Это хуже, чем детям  
сделанное «бо-бо».  
Потому что за этим  
не следует ничего.

## «БАРБИЗОН ТЕРРАС»

Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне.  
Постояльцы храпят, не снимая на ночь  
черных очков, чтоб не видеть снов.  
Портые с плечами тяжелоатлета  
листает книгу жильцов, любуясь  
внутренностями Троянского подержанного коня.

Шелест кизилового куста  
оглушает сидящего на веранде  
человека в коричневом. Кровь в висках  
стучит, как не принятое никем  
и вернувшееся восьмой морзе.  
Небо похоже на столпотворение генералов.

Если когда-нибудь позабудешь  
сумму углов треугольника или площадь  
в заколдованным круге, вернись сюда:  
амальгама зеркала в ванной прячет  
сильно сдобренный милой кириллицей волапюк  
и совершенно секретную мысль о смерти.

\* \* \*

**Те, кто не умирают, живут  
до шестидесяти, до семидесяти,  
педствуют, строчат мемуары,  
путаются в ногах.**

**Я вглядываюсь в их черты  
пристально как Миклуха  
Маклай в татуировку  
приближающихся  
дикарей.**

# **НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН**

*Л. и Н. Лифшиц*

## I

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.  
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.  
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна  
с криком выскакивает из кабины натуралиста.

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,  
только бутылки в баре хорошо переносят качку.  
Ветер относит в сторону окончание анекдота,  
и капитан бросается с кулаками на мачту.

Порой из кают-кампании раздаются аккорды последней  
вещицы Брамса  
Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою  
линией курса. И в подзорной трубе пространство  
впереди  
быстро смешиивается с оставшимся за кормою.

## II

Пассажир отличается от матроса  
шорохом шелкового белья,  
условиями питания и жилья,  
повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса.

Матрос отличается от лейтенанта  
отсутствием эполет,  
количеством лет,  
нервами перекрученными на манер каната.

Лейтенант отличается от капитана  
нашивками, выражением глаз,  
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,  
чтением «Критики Чистого Разума», Мопассана и  
«Капитала».

Капитан отличается от Адмиралтейства  
одинокими мыслями о себе,  
отвращением к синеве,  
воспоминаньем о длинном уик-энде, проведенном в  
именье тестя.

И только корабль не отличается от корабля.  
Переваливаясь на волнах, корабль  
выглядит одновременно как дерево и журавль,  
из-под ног у которых ушла земля.

### III

#### Разговор в Кают-Кампании

«Конечно Эрц-герцог монстр! но как следует разобраться—  
нельзя не признать за ним некоторых заслуг...»  
«Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.  
Какой-то порочный круг!» «Нет, спасательный круг!»

«Восхитительный херес!» «Я всю ночь не могла уснуть.  
Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи».«...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.  
Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!

Вам случалось тонуть, лейтенант?» «Никогда. Но акула  
меня кусала». «Да? любопытно... Но представьте, что — течь... И  
представьте себе...» «Что ж, может это заставит подняться на палубу даму в  
12-б». «Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в  
Кюрасао».

## IV

### Разговоры на палубе

«Я, профессор, тоже в молодости мечтал  
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу».  
«И что же вам помешало?» «Наука мне не под силу.  
И потом — тити-мити». «Простите?» «Э-э... презренный  
металл».

«Человек, он есть кто?! Он — вообще — комар!»  
«А скажите, месье, в России у вас, что — тоже есть резина?»  
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!  
Не забывайте, что я...» «Простите меня, кузина».

«Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там вдали?»  
«Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон там». «Ах,  
это...  
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?» «Не-а, одна  
газета...  
Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увеличилось!»

## V

Море гораздо разнообразней суши.  
Интереснее, чем что-либо.  
Изнутри, как и снаружи, Рыба  
интереснее груши.

На земле существуют четыре стены и крыша.  
Мы боимся волка или медведя.  
Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша».  
А если хватает воображенья — «Федя».

Ничего подобного не происходит в море.  
Кита в его первозданном, диком  
виде не трогает имя Бори.  
Лучше звать его Диком.

Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.  
Многим из них не отыскать причины;  
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,  
ни на злую волю женщины или мужчины.

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий  
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.  
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали «закона  
джунглей»  
либо — внесли бы в оный свои поправки.

## VI

«Капитан, в этих местах затонул «Черный Принц»  
при невыясненных обстоятельствах». «Штурман Бенц!  
Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитеесь».  
«В этих местах затонул также русский «Витязь».  
«Штурман Бенц! Вы думаете, что я  
шучу?» «При невыясненных обстоя...»

Неукоснительно двигается корвет.  
За кормою — Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет.  
Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.  
И пространство хранит ответ.

## VII

«Ирина!» «Я слушаю». «Взгляни-ка сюда, Ирина».  
«Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это там?» «Да  
где?»  
«В иллюминаторе». «Это... это, по-моему, субмарина».  
«Но оно извивается!» «Ну и что из того? В воде  
всё извивается». «Ирина!» «Куда ты тащишь меня?! Я  
раздета!»  
«Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай!  
Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...  
Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!..»

## VIII

Море внешне безжизненно, но оно  
полно чудовищной жизни, которую не дано  
постичь, пока не пойдешь на дно.

Что порой подтверждается сетью, тралом.  
Либо — пляской волн, отражающих как бы в вялом  
зеркале творящееся под одеялом.

Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.  
Под водою, однако, он умеряет прыть.  
Внезапно он хочет пить.

Там, под водой, с пересохшой глоткой,  
жизнь представляется вдруг короткой.  
Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.

Изо рта вырываются пузыри.  
В глазах возникает эквивалент зари.  
В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий:  
раз, два, три.

## IX

«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского  
осьминога.  
Чудо, но письменные принадлежности и твоя фото-  
карточка уцелели.

Сыро и душно. Тем не менее, не одиноко:  
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.  
Главное, что темно. Когда напрягаю зренье,  
различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах.  
Постараюсь исследовать систему пищеваренья.  
Это — единственный путь к свободе. Целую. Твой верный  
Жак».

«Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога.  
Ибо мог бы просто пойти на дно, либо — попасть  
к акуле.

Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:  
о чём я их ни спрошу, слышу странное «хули-хули».  
Вокруг бесконечные, скользкие, выющиеся тунNELи.  
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.  
Вероятно, я брежу, но вчера на панели  
мне попался некто назвавшийся капитаном Немо».

«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я  
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.  
Как протест против общества. Раньше была семья,  
но жена и т.д. И ему ничего иного  
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.  
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жестокосердье  
и гордыню, воцарившиеся на земле.  
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье».

«Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра  
(с «Принца» и с «Витязя»). Дикари подавали, скаля  
зубы. Обсуждали начатую вчера  
тему бессмертья, «Мысли» Паскаля, последнюю вещь в  
«Ля Скала».  
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон — осьминог.  
Немо с его бородой и с глазами голубыми как у младенца.  
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок...»

*(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца.)*

## X

Когда корабль не приходит в определенный порт  
ни в назначенный срок, ни позже,  
Директор Кампании произносит: «Черт!»  
Адмиралтейство: «Боже».

Оба неправы. Но откуда им знать о том,  
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,  
ни акулу с ее набитым ртом,  
не направишь овчарку

по следу. И какие вообще следы  
в океане? Все это сущий  
бред. Еще одно торжество воды  
в состязании с сушей.

В океане все происходит вдруг.  
Но потом еще долго волна теребит скитальцев:  
доски, обломки мачты и спасательный круг;  
все — без отпечатка пальцев.

И потом наступает осень, за ней — зима.  
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката  
молчаливые волны могут свести с ума  
красотою заката.

И становится ясно, что нечего вопрошать  
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда  
синюю рябь, продолжающую улучшать  
линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк  
факты, которых, собственно, кот наплакал.  
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк  
и оседает на пол.

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.  
Вдалеке на волне покачивается какой-то  
безымянный предмет. И колокол глухо бьет  
в помещении Ллойда.

\* \* \*

*Пора забыть верблюжий этот гам  
И белый дом на улице Жуковской.*

Анна Ахматова

Помнишь свалку вещей на железном стуле,  
то, как ты подпевала бездумному «во саду ли,  
в огороде», бренчавшему вечером за стеной;  
окно, занавешенное выстиранной простынею?  
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,  
куда задувало не хуже, чем в той пещере,  
преграждали доступ царям, пастухам, животным,  
оставляя нас греться теплом животным  
да армейской шинелью. Что напевала выюга  
переходящим заполночь в сны друг друга,  
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,  
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,  
прилетавшей из Ялты. Настоящее пламя  
пожирало внутренности игрушечного аэроплана  
и центральный орган державы плоской,  
где китайская грамота смешана с речью польской.  
Не отдернуть руки, не избежать ожога,  
измеряя градус угла чужого  
в геометрии бедных, чей треугольник кратный  
увенчан пыльной слезой стоваттной.  
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,  
когда торжество крестьянина под вопросом,  
сказуемое, ведомое подлежащим,  
уходит в прошедшее время, жервуя настоящим,  
от грамматики новой на сердце пряча  
окончания шепота, крика, плача.

\* \* \*

*M. B.*

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной  
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,  
белеть а ля Казимир на выстиранном просторе,  
темнеть — особенно вечером — в коридоре,  
спой мне песню о том, как шуршит портьера,  
как включается, чтоб оглушить полтела,  
тень, как лиловая муха, сползает с карты,  
и закат в саду за окном точно дым эскадры,  
от которой осталась одна матроска,  
позабытая в детской. И как расческа  
в кулакедрессировщика-турка, как рыбку — леской,  
возвышает болонку над Ковалевской  
до счастливого случая тявкнуть сорок  
раз в день рождения, — и мокрый порох  
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,  
и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978

## ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северозападный ветер его поднимает над  
сизой, лиловой, пунцовой, алой  
долиной Коннектикута. Он уже  
не видит лакомый променад  
курицы по двору обветшалой  
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,  
все, что он видит — гряду покатых  
холмов и серебро реки,  
вьющейся точно живой клинок,  
сталь в зазубринах перекатов,  
схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля  
термометры — словно лары в нише;  
стынут, обуздывая пожар  
листьев, шпили церквей. Но для  
ястреба, это не церкви. Выше  
лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,  
с прижатою к животу плюсною  
— когти в кулак, точно пальцы рук —  
чуя каждым пером поддув  
снизу, сверкая в ответ глазною  
ягодою, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу  
буков, прячущих в мощной пене  
травы, чьи лезвия остры,  
гнездо, разбитую скорлупу  
в алую крапинку, запах, тени  
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,  
бышееся с частотою дрожи,  
точно ножницами сечет,  
собственным движимое теплом,

осеннюю синеву, ее же  
увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,  
точки, скользящей поверх вершины  
ели; за счёт пустоты в лице  
ребенка, замерзшего у окна,  
пары, вышедшей из машины,  
женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх  
выше и выше. В подбрюшных перьях  
шиплет холодом. Глядя вниз,  
он видит, что горизонт померк,  
он видит как бы тринадцать первых  
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число  
труб подсказывает одинокой  
птице, как поднялась она.  
Эк куда меня занесло!  
Он чувствует смешанную с тревогой  
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой  
воздуха его возвращает в небо,  
в бесцветную ледяную гладь.  
В желтом зрачке возникает злой  
блеск. То есть, помесь гнева  
с ужасом. Он опять

низовергается. Но как стенка — мяч,  
как паденье грешника — снова в веру,  
его выталкивает назад.  
Его, который еще горяч!  
В чёрт-те что. Все выше. В ионосферу.  
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,  
где вместо проса — крупа далеких  
звезд. Что для двуногих высь,

то для пернатых наоборот.  
Не мозжечком, но в мешочках легких  
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,  
клюва, похожий на визг эриний,  
вырывается и летит вовне  
механический, нестерпимый звук,  
звук стали, впившейся в алюминий;  
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:  
людских, срывающейся с березы  
белки, тякающей лисы,  
маленьких полевых мышей;  
так отливаться не могут слезы  
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик  
страшней, кошмарнее ре-диеза  
алмаза, режущего стекло,  
пересекает небо. И мир на миг  
как бы вздрогивает от пореза.  
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,  
обжигает черной оградой руку  
без перчатки. Мы, восклицая «вон,  
там!» видим вверху слезу  
ястреба, плюс паутину, звуку  
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где  
нет эха, где пахнет апофеозом  
звука, особенно в октябре.  
И в кружеве этом, сродни звезде,  
сверкая, скованная морозом,  
и неем, в серебре

опушившем перья, птица плывет в зенит,  
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда

перл, сверкающую деталь.  
Мы слышим: что-то вверху звенит,  
как разбивающаяся посуда,  
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но  
тают в ладони. И на мгновенье  
вновь различаешь кружки, глазки,  
веер, радужное пятно,  
многоточия, скобки, звенья,  
колоски, волоски —

бывший привольный узор пера,  
карту, ставшую горстью юрких  
хлопьев, летящих на склон холма.  
И, ловя их пальцами, детвора  
выбегает на улицу в пестрых куртках  
и кричит по-английски «Зима, зима!»

1975

**К УРАНИИ**



## ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН: ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

### I

Взбаламутивший море  
ветер рвется как ругань с расквашенных губ  
вглубь холодной державы,  
заурядное до-ре-  
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.  
Не-царевны-не-жабы  
припадают к земле,  
и сверкает звезды оловянная гривна.  
И подобье лица  
растекается в черном стекле,  
как пощечина ливня.

### II

Здравствуй, Томас. То — мой  
призрак, бросивший тело в гостинице где-то  
за морями, гребя  
против северных туч, поспешает домой,  
вырываясь из Нового Света,  
и тревожит тебя.

### III

Поздний вечер в Литве.  
Из костелов бредут, хороня запятые  
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах  
куры роются клювами в жухлой дресве.  
Над жнивьем Жемайтии  
вьется снег, как небесных обителей прах.  
Из раскрытых дверей  
пахнет рыбой. Малец полуголый  
и старуха в платке загоняют корову в сарай.  
Запоздалый еврей

по брусчатке mestечка гремит балаголой,  
вожжи рвет  
и кричит залихватски «Герай!»

## IV

Извини за вторжение.  
Сочти появление за  
возвращенье цитаты в ряды «Манифеста»:  
чуть картавей  
чуть выше октавой от странствий вдали.

Потому — не крестись,  
не ломай в кулаке картуза:  
сгину прежде, чем грянет с насеста  
петушиное «пли».

Извини, что без спросу.

Не пяться от страха в чулан:  
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус бренность.  
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,  
над Балтийской волной  
я жужжу, точно тот моноплан —  
точно Дариус и Геренас,  
но не так уязвим.

## V

Поздний вечер в Империи,  
в ницкой провинции.

Вброд  
перешедшее Неман еловое войско,  
ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет.  
Багровеет известка  
трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как пойманный  
лещ.

Вверх взвивается занавес в местном театре.

И выносят на улицу главную вещь,  
разделенную на три  
без остатка.

Сквозняк теребит баxрому

занавески из тюля. Звезда в захолустье  
светит ярче: как карта, упавшая в масть.  
И впадает во тьму,  
по стеклу барабана, руки твоей устье.  
Больше некуда впасть.

## VI

В полночь всякая речь  
обретает ухватки слепца.  
Так что даже «отчизна» наощупь как Леди Годива.  
В паутине углов  
микрофоны спецслужбы в квартире певца  
пишут скрежет матраца и всплески мотива  
общей песни без слов.  
Здесь панует стыдливость. Листва, норовя  
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,  
возмущает фонарь. Отменив рупора,  
миру здесь о себе возвещают, на муравья  
наступив ненароком, невнятной морзянкой  
пульса, скрипом пера.

## VII

Вот откуда твои  
щек мучнистость, безадресность глаза,  
шепелявость и волосы цвета спитой,  
тусклой чайной струи.  
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза,  
на пути к запятой.  
Вот откуда моей,  
как ее продолжение вверх, оболочки  
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы  
ивняка и т.п., очертанья морей,  
их страниц перевернутость в поисках точки,  
горизонта, судьбы.

## VIII

Наша письменность, Томас! с моим, за поля  
выходящим сказуемым! с хмурым твоим домоседством  
подлежащего! Прочный, чернильный союз,  
кружева, вензеля,  
помесь литеры римской с кириллицей: цели со средством,  
как велел Макроус!

Наши оттиски! в смятых сырых простынях —  
этих рыхлых извилинах общего мозга! —  
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.

Либо — просто синяк  
на скуле мирозданья от взгляда подростка,  
от попытки на глаз  
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы  
до лица, многооко смотрящего мимо,  
как раскосый монгол за земной частокол,  
чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы —  
и, нащупав язык, на манер серафима  
переправить глагол.

## IX

Мы похожи.

Мы, в сущности, Томас, одно:  
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.  
Друг для друга мы суть  
обоюдное дно  
амальгамовой лужи,  
неспособной блеснуть.

Покривясь — я отвечу ухмылкой кривой.  
отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость,  
разольюсь в три ручья  
от стоваттной слезы над твоей головой.

Мы — взаимный конвой,  
проступающий в Касторе Поллукс,  
в просторечье — ничья,  
пат, подвижная тень,  
приводимая в действие жаркой лучиной,  
эхо возгласа, сдача с рубля.

Чем сильней жизнь испорчена, тем  
мы в ней неразличимей  
ока праздного дня.

## X

Чем питается призрак? Отбросами сна,  
отрубями границ, шелухою цифри:  
явь всегда норовит сохранить адреса.  
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,  
желтизну подворотни как сыр простофили  
пожирает лиса  
темноты. Место, времени мстя  
за свое постоянство жильцом, постояльцем,  
жизнью в нем, отпирает засов, —  
и, эпоху спустя,  
я тебя застаю в замусоленной пальцем  
сверхдержаве лесов  
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты  
и особенно позу: в сырой конопляной  
многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди  
Мать-Литва засыпает над плесом,  
и ты  
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной,  
поллитровой груди.

## XI

Существуют места,  
где ничто не меняется. Это —  
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.  
Там шлагбаумы на резкость наводят верста.  
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.  
    Там с лица сторожа  
моложавей. Минувшее смотрит вперед  
настороженным глазом подростка в шинели.  
    и судьба нарушителем пятится прочь  
в настоящую старость с плевком на стене,  
с ломотой, с бесконечностью в форме панели

либо лестницы. Ночь  
и взаправду граница, где, как татарва,  
территориям прожитой жизни набегом  
угрожает действительность, и наоборот  
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,  
где что веко не спрячет,  
то явь печенегом  
как трофеей подберет.

## XII

Полночь. Сойка кричит  
человеческим голосом и обвиняет природу  
в преступлениях термометра против нуля.  
Выйдет, бросивший меч и похоривший щит,  
погружается в Балтику в поисках броду  
к шведам. Впрочем, земля  
и сама завершается молом, погнавшимся за  
как по плоским ступенькам, по волнам  
убежавшей свободой. Усилия бобра  
по постройке запруды венчают слеза,  
расставаясь с проворным  
ручейком серебра.

## XIII

Полночь в лиственном крае,  
в губернии цвета пальто.  
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза  
на рядно сопредельной державе.  
Внизу  
пашни, скирды, плато  
черепицы, кирпич, колоннада, железо,  
плюс обутый в кирзу  
человек государства.  
Ночной кислород  
наводняют помехи, молитва, сообщенья  
о погоде, известия,  
храбрый Кошечай  
с округленными цифрами, гимны, фокстрот  
болеро, запрещенья  
безымянных вещей.

## XIV

Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор,  
выбегает наружу. Плется по Лайсвис-аллее.

Входит в «Тюльпе», садится к столу.

Кельнер, глядя в упор,  
видит только салфетки, огни бакалеи,  
снег, такси на углу,  
просто улицу. Бьюсь об заклад,  
ты готов позавидовать. Ибо незримость  
входит в моду с годами — как тела уступка душе,  
как намек на грядущее, как маскхалат  
Рая, как затянувшийся минус.

Ибо все в барыше  
от отсутствия, от  
бестелесности: горы и долы,  
медный маятник, сильно привыкший к часам,  
Бог, смотрящий на все это дело с высот,  
зеркала, коридоры,  
соглядатай, ты сам.

## XV

Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он  
суть твое прибавление к воздуху мысли  
обо мне, суть пространство в квадрате,  
а не

энергичная проповедь лучших времен.

Не завидуй. Причисли  
привиденье к родне,  
к свойствам воздуха — так же, как мелкий петит  
рассыпаемый в сумраке речью картавой  
вроде цокота мух,  
неспособный, поди, утолить аппетит  
новой Клио, одетой заставой,  
но ласкающий слух  
обнаженной Урании.

Только она,

Музы точки в пространстве и Музы утраты  
очертаний, как скаред — гроши,

в состояньи сполна  
оценить постоянство: как форму расплаты  
за движенье — души.

## XVI

Вот откуда пера,  
Томас, к буквам привязанность.  
Вот чем  
объясняться должно тяготенье, не так ли?  
Скрепя  
сердце, с хриплым «пора!»  
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,  
что скрывать — от тебя!  
от страницы, от букв,  
от — сказать ли! — любви  
звука к смыслу, бесплотности — к массе  
и свободы к — прости  
и лица не криви —  
к рабству, данному в мясе,  
во плоти, на кости,  
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей  
мимо дремлющих в нише  
местных ангелов:  
выше  
их и нетопырей.

## XVII

Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых лишь  
в телескоп! Вычитанья  
без остатка! Нуля!  
Ты, кто горлу велишь  
избегать причитанья,  
превышения «ля»  
и советуешь сдержанность! Муза, прими  
эту арию следствия, петую в ухо причине,  
то есть песнь двойнику,  
и взгляни на нее и ее до-ре-ми

там, в разреженном чине,  
у себя наверху  
с точки зрения воздуха.  
Воздух и есть эпилог  
для сетчатки — поскольку он необитаем.  
Он суть наше «домой»,  
восвояси вернувшийся слог.  
Сколько жаброй его ни хватаем,  
он успешно латаем  
светом взапуски с тьмой.

## XVIII

У всего есть предел:  
горизонт — у зрачка, у отчаянья — память, для роста —  
расширение плеч.  
Только звук отделяться способен от тел,  
вроде призрака, Томас. Сиротство  
звука, Томас, есть речь!  
Оттолкнув абажур,  
глядя прямо перед собою,  
видишь воздух:  
в анфас  
сонмы тех,  
кто губою  
наследил в нём  
до нас.

## XIX

В царстве воздуха! В равенстве слога глотку  
кислорода. В прозрачных и в сбившихся в облак  
наших выдоах. В том  
мире, где, точно сны к потолку,  
к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой облик  
продиктованный ртом.  
Вот чем дышит вселенная. Вот  
что петух кукарекал,  
упреждая гортани великую сушь!

Воздух — вещь языка.  
Небосвод —  
хор согласных и гласных молекул,  
в просторечии — душ.

## XX

Оттого-то он чист.  
Нет на свете вещей, безупречней  
(кроме смерти самой)  
отбеляющих лист.  
Чем белее, тем бесчеловечней.  
Муза, можно домой?  
Восвояси! В тот край,  
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи  
уст. В грамматику без  
препинания. В рай  
алфавита, трахеи.  
В твой безликий ликбез.

## XXI

Над холмами Литвы  
что-то вроде мольбы за весь мир  
раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый  
звук плывет над селеньями в сторону Куршской Косы.  
То Святой Казимир  
с Чудотворным Николой  
коротают часы  
в ожидании зимней зари.  
За пределами веры,  
из своей стратосферы,  
Муза, с ними призри  
на певца тех равнин, в рукотворную тьму  
погруженных по кровлю,  
на певца усмиренных пейзажей.  
Обнеси своей стражей  
дом и сердце ему.

\* \* \*

Восславим приход весны! Ополоснем лицо,  
чирии прижжем проверенным креозотом  
и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,  
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!  
будущим! Будущее всегда  
наполняет землю зерном, голоса — радушьем,  
наполняет часы ихним туда-сюда;  
вздрогнув, себя застаешь в грядущем.  
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,  
вся природа, от ящериц до оленей,  
устремлена туда же, куда ведут следы  
государственных преступлений.

\* \* \*

Время подсчета цыплят ястребом; скирд в  
тумане,  
мелочи, обжигающей пальцы, звеня в кармане;  
северных рек, чья волна, замерзая в устье,  
вспоминает истоки, южное захолустье  
и на миг согревается. Время коротких суток,  
снимаемого плаща, разбухших ботинок,  
судорог  
в желудке от желтой вареной брюквы;  
сильного ветра, треплющего хоругви  
листолюбивого воинства. Пора, когда дело  
терпит,  
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,  
и кору задирает жадный, бесстыдный трепет  
пальцев. Чем больше пальцев, тем меньше  
платья.

\* \* \*

Я распугивал ящериц в зарослях чаппарала,  
куковал в казенных домах, переплывал моря,  
жил с китаянкой. Боюсь, моя  
столбовая дорога вышла длинней, чем края  
на Казанском догадывалась. И то:  
по руке не вычислить скорохода.  
Наизнанку вывернутое пальто.  
сводит с ума даже время года,  
а не только что мусора. Вообще верста,  
падая жертвой свово предела,  
губит пейзаж и плодит места,  
где уже не нужно, я вижу, тела.  
Знать, кривая способна тоже, в пандан прямой,  
озверевши от обуви, пробормотать «не треба».  
От лица фотографию легче послать домой,  
чем срисовывать ангела в профиль с неба.

## ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Все собаки съедены. В дневнике  
не осталось чистой страницы. И бисер слов  
покрывает фото супруги, к ее щеке  
мушку даты сомнительной приколов.  
Дальше — снимок сестры. Он не щадит сестру:  
речь идет о достигнутой широте!  
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,  
как чулок девицы из варьете.

22 июля 1978 г.

\* \* \*

Дни расплетают тряпичку, сотканную Тобою.  
И она скучоживается на глазах, под рукою.  
Зеленая нитка, следом за голубою,  
становится серой, коричневой, никакою.  
Уж и краешек, вроде, виден того батиста.  
Ни один живописец не напишет конец аллеи.  
Знать, от стирки платье невесты быстрой  
садится,  
да и тело не делается белее.  
То ли сыр пересох, то ли дыханье сперло.  
Либо: птица в профиль ворона, а сердцем —  
кенаръ.  
Но простая лиса, перегрызая горло,  
не разбирает, где кровь, где тенор.

## ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА

(4 июня 1977)

Падучая звезда, тем паче — астероид  
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.  
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

\*

Там хмурые леса стоят в своей рванине.  
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине  
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.  
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.  
Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках bemолью.  
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.  
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

\*

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.  
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.  
Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.  
И к звездам до сих пор там запускают жучек  
плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.  
Жужжение пчелы там главный принцип звука.  
Там копия, щадя оригинал, безрука.

\*

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,  
и ребер больше там у пыльной батареи  
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замерзшей странник.  
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.  
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.  
Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.  
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.

\*

Там при словах «я за» течет со щек известка.  
Там в церкви образа коптит свеча из воска.  
Порой дает раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде.  
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.  
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.  
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.  
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

\*

Там лежучи плашмя на рядовой холстине  
отbrasываешь тень, как пальма в Палестине.  
Особенно — во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.  
Там города стоят, как двинутые рюхой,  
и карта мира там замещена пеструхой,  
  
мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.  
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,  
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

\*

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.  
Овацию листвы унять там вождь бессилен.  
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.  
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.  
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.  
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.  
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

\*

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»  
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.  
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.  
Когда не от руки, так на руках у друга.  
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал. Зане в театре задник  
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.  
Передних ног простор не отличит от задних.

\*

Теперь меня там нет. Означенной пропаже  
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.  
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.  
Ее затянут мох или пучки лишая,  
гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.  
Но было бы чудней изображать барана,  
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

\*

паясничать. Ну что ж! на все свои законы:  
я не любил жлобства, не целовал иконы,  
и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным лицом.  
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом  
варянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.  
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:  
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

\*

и без костей язык, до внятных звуков лаком,  
судьбу благодарит кириллицыным знаком.  
На то она — судьба, чтоб понимать на всяком

наречье. Предо мной — пространство в чистом виде.  
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.  
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.  
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,  
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

\*

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.  
Зане не знаю я, в какую землю лягу.  
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

## В АНГЛИИ

*Диане и Аллану Майерс*

### I БРАЙТОН-РОК

Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое море на сушу выбрасывает шум прибоя и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска лишней воды с лишней тьмой возникают, резко выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы, летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях беззаботно вскрикивает коноплянка. Чистая линия горизонта с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой, и танкер перебирает мачтами, как упавший на спину муравей. В сознанье всплывает чай-то телефонный номер — порванная ячейка опустевшего невода. Бриз овеивает щеку. Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку, и отраженье полощется рядом с оцепеневшей лодкой. В середине длинной или в конце короткой жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади, схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, на нее, как две капли воды. Как молчанье на попугая.

### II СЕВЕРНЫЙ КЕНСИНГТОН

Шорох «Ирландского Времени», гонимого ветром по железнодорожным путям к брошенному депо, шелест мертвой полыни, опередившей осень, серый язык воды подле кирпичных десен. Как я люблю эти звуки — звуки бесцельной, но длящейся жизни, к которым уже давно ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.

Только мышь понимает прелести пустыря —  
ржавого рельса, выдернутого штыря,  
проводов, не способных взять выше сиплого до-диеза,  
поражения времени перед лицом железа.  
Ничего не исправить, не использовать впредь.  
Можно только залить асфальтом или стереть  
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой  
бетонного стадиона с орущей массой.  
И появится мышь. Медленно, не спеша,  
выйдет на середину поля, мелкая, как душа  
по отношению к плоти, и, приподняв свою  
обезумевшую мордочку, скажет «не узнаю».

### III СОХО

В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой,  
отражается матовый профиль красавицы с рваной раной  
говорящего рта. Партнер созерцает стены,  
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в «Сцены  
скакеч в Эпсоме». — Флаги. Наездник в алом  
картузе рвется к финишу на полуторагодовалом  
жеребце. Все слилось в сплошное пятно. В ушах завывает ветер.  
На трибунах творится невообразимое... — «не ответил  
на второе письмо, и тогда я решила...» Голос  
представляет собою борьбу глагола с  
ненаставшим временем. Молодая, худая  
рука перебирает локоны, струящиеся не впадая  
никуда, точно воды многих  
рек. Оседлав деревянных четвероногих,  
вокруг стола с недопитым павшие смертью храбрых  
на чужих простынях джигитуют при канделябрах  
к подворотне в -Ском переулке, засыпанной снегом.—Флаги  
жухнут. Ветер стихает; и капли влаги  
различимы становятся у соперника на подбородке,  
и трибуны теряются из виду... — В подворотне  
светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы,  
словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы  
ни пришел сюда первым, колокол в переулке  
не звонит. И подковы сивки или каурки

в настоящем прошедшем, даже достигнув цели,  
не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.

#### IV ИСТ ФИНЧЛИ

Вечер. Громоздкое тело тихо движется в узкой  
стриженой под полубокс аллее с рядами фуксий  
и садовой герани, точно дредноут в мелком  
деревенском канале. Перепачканный мелом  
правый рукав пиджака, так же как самый голос,  
выдает род занятий — «Розу и гладиолус  
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,  
раз или два в неделю». И он мне приводит цифры  
из «Советов любителю-садоводу»  
и строку из Вергилия. Земля поглощает воду  
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостиной,  
скupo обставленной, нарочито пустынной,  
жена — он женат вторым браком — как подобает женам,  
раскладывает, напевая, любимый Джоном  
Голсуорси пасъянс «Паук». На стене акварель: в воде  
отражается вид моста неизвестно где.

Всякий живущий на острове догадывается, что рано  
или поздно все это кончается, что вода из-под крана,  
прекращая быть пресной, делается соленой,  
и нога, хрустевшая гравием и соломой,  
ощущает внезапный холод в носке ботинка.  
В музыке есть то место, когда пластинка  
начинает вращаться против движенья стрелки.  
И на камине маячит чучело перепелки,  
понадевшейся на бесконечность леса,  
ваза с веточкой бересклета  
и открытка с видом базара где-то в Алжире — груды  
пестрой материи, бронзовые сосуды,  
сзади то ли верблюды, то ли просто холмы;  
люди в тюрбанах. Не такие, как мы.

Аллегория памяти, воплощенная в твердом  
карандаше, застывшем в воздухе над кроссвордом.  
Дом на пустынной улице, стелющейся покато,

в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката  
отражается, точно в окне экспресса,  
ходящего в вечность, где не нужны колеса.  
Милая спальня (между подушек — кукла),  
где ей снятся ее «кошмары». Кухня;  
издающая запах чая гудящая хризантема  
газовой плитки. И очертанья тела  
оседают на кресло, как гуща, отделяющая от жижи.

Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни  
стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку  
мелкие вещи — с розой, подобной знаку  
бесконечности из-за пучка восьмерок,  
с колесом георгина, буксующим меж распорок,  
как расхристанный локомотив Боччони,  
с танцовщицами-фуксиями и с еще не  
распустившейся далией. Плавающий в покое  
мир, где не спрашивают «что такое?  
что ты сказал? повтори» — потому что эхо  
возвращает того воробья неизменно в ухо  
от китайской стены; потому что ты  
произнес только одно: «цветы».

### В ТРИ РЫЦАРЯ

В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу  
спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу-  
мраке ротонды, как каменные осетры,  
чешую кольчуги и жабрами лат. Все три  
горбоносы и узколицы, и с головы до пят  
рыцари: в панцире, в шлеме, с длинным мечом. И спят  
дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки  
скрещены на груди, точно две севрюги.

За щелчком аппарата следует вспышка — род  
выстрела (все, что нас отбрасывает вперед,  
на стену будущего, есть как бы выстрел). Три  
рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри  
камеры то, что уже случилось — либо при Пуатье,  
либо в Святой Земле: путешественник в канотье

для почивших заради Отца и Сына  
и Святого Духа ужаснее сарацина.

Аббатство привольно раскинулось на берегу реки.  
Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки  
порхают у баптистерия над клумбою и т.д.  
Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде,  
природа скорей успокаивает, чем увлекает глаз;  
и под стеной ротонды, как перед раз  
навсегда опустившимся занавесом в театре,  
апплодисменты боярышника ты не разделишь на три.

## VI ЙОРК

*W. H. A.*

Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою  
под кирпичной стеной мертвой фабрики. За средою  
наступает четверг, и т.д. Небо пышет жаром,  
и поля выгорают. Города отдают лежалым  
полосатым сукном, георгины страдают жаждой.  
И твой голос — «Я знал трех великих поэтов. Каждый  
был большой сукин сын» — раздается в моих ушах  
с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг

и готов оглянуться. Скоро четыре года,  
как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелой перехода  
ни души: черепичные кровли, асфальт, известка,  
тополя. Честер тоже умер — тебе известно  
это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных счетах,  
воробыи восседают на проводах. Ничто так  
не превращает знакомый подъезд в толчею колонн,  
как любовь к человеку; особенно если он

мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья  
напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться.  
Танец белых капустниц похож на корабль в бурю.  
Человек приносит с собою тупик в любую  
точку света; и согнутое колено  
размножает тупым углом перспективу плены,

как журавлинный клин, когда он берет курс на Юг. Как всё движущееся вперед.

Пустота, поглощая солнечный свет на общих основаниях с боярышником, увеличивается наощупь в направлении вытянутой руки, и мир сливаются в длинную улицу, на которой живут другие. В этом смысле он — Англия. Англия в этом смысле до сих пор Империя и в состояниях — если верить музыке, булькающей водой — править морями. Впрочем — любой средой.

Я в последнее время немного сбиваюсь: скалюсь отражением в стекле витрины; покамест палец набирает свой номер, рука опускает трубку. Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шлюпку, замершую на воде посредине бухты. Выходя наружу из телефонной будки, слышу голос скворца, в крике его — испуг. Но раньше, чем он взлетает, звук

растворяется в воздухе. Чьей бес предметной сини и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне, ибо в ней тебя нет. И вакуум постепенно заполняет местный ландшафт. Как сухая пена, овцы покоятся на темнозеленых волнах йоркширского вереска. Кордебалет проворных бабочек, повинувшись невидимому смычку, мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачку

ни на чем задержаться. И вертикальный стебель иван-чая длинней уходящей на Север древней Римской дороги, всеми забытой в Риме. Вычитая из меньшего большее, из человека — Время, получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом фоне отчетливей, чем удается телом это сделать при жизни, даже сказав «лови!»

Что источник любви превращает в объект любви.

## VII

Английские каменные деревни.  
Бутылка собора в окне харчевни.  
Коровы, разбредшиеся по полям.  
Памятники королям.

Человек в костюме побитом молью  
проводает поезд, идущий, как все тут, к морю,  
улыбается дочке, уезжающей на Восток.  
Раздается свисток.

И бескрайнее небо над черепицей  
тем синее, чем громче птицей  
оглашаемо. И чем громче поет она,  
тем все меньше видна.

## САН-ПЬЕТРО

### I

Третью неделю туман не слезает с белой колокольни коричневого, захолустного городка, затерявшегося в глухонемом углу Северной Адриатики. Электричество продолжает в полдень гореть в таверне. Плитняк мостовой отливает желтой жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили пропадают из виду, не заводя мотора. И вывеску не дочитать до конца. Уже не терракота и охра впитывают в себя сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.

Тень, насыщающаяся от света, радуется при виде снимаемого с гвоздя пальто совершенно по-христиански. Ставни широко растопырены, точно крылья погрузившихся с головой в чужие неурядицы ангелов. Там и сям слезающая струпьями штукатурка обнажает красную, воспаленную кладку, и третью неделю сохнущие исподники настолько привыкли к дневному свету и к своей веревке, что человек если выходит на улицу, то выходит в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В два часа пополудни силуэт почтальона приобретает в подъезде резкие очертанья, чтоб, мгновенье спустя, снова сделаться силуэтом. Удары колокола в тумане повторяют эту же процедуру. В итоге невольно оглядываешься через плечо самому себе вслед, как иной прохожий, стремясь рассмотреть получше щиколотки прошелестевшей мимо красавицы, но — ничего не видишь, кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина.

Направленье потеряно. За поворотом  
фонари обрываются, как белое многоточье,  
за которым следует только запах  
водорослей и очертанья пирса.  
Безветрие; и тишина как ржанье  
никогда не сбивающейся с пути  
чугунной кобылы Виктора-Эммануила.

## II

Зимой обычно смеркается слишком рано;  
где-то вовне, снаружи, над головою.  
Туго спеленутые клочковатой  
марлей стрелки на городских часах  
отстают от меркнущего вдалеке  
рассеянного дневного света.  
За сигаретами вышедший постоялец  
возвращается через десять минут к себе  
по пробуравленному в тумане  
его же туловищем туннелю.  
Ровный гул невидимого аэроплана  
напоминает жужжение пылесоса  
в дальнем конце гостиничного коридора  
и поглощает, стихая, свет.  
«Неббия»\*, — произносит, зевая, диктор,  
и глаза на секунду слипаются, наподобье  
раковины, когда проплывает рыба  
(зрачок погружается ненадолго  
в свои перламутровые потемки.)  
и подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,  
поглощенный чтением под одеялом;  
одеяло всё в складках, как тога Евангелиста  
в нише. Настоящее, наше время  
со стуком отскакивает от бурого кирпича  
грузной базылики, точно белый  
кожаный мяч, вколачиваемый в неё  
школьниками после школы.

\*Nebbia (итал.) — туман.

Щербатые, но не мыслящие себя  
в профиль, обшарпанные фасады.  
Только голые икры кривых балюсин  
одушевляют наглухо запертые балконы,  
где вот уже двести лет никто  
не появляется: ни наследница, ни кормилица.  
Облюбованные брачующимися и просто  
скучающими чудищами карнизы.  
Колоннада, оплывшая, как стеарин.  
И слепое, агатовое великолепье  
непроницаемого стекла,  
за которым скрываются кущетка и пианино:  
старые, но именно светом дня  
оберегаемые успешно тайны.

В холодное время года нормальный звук  
предпочитает тепло гортани капризам эха.  
Рыба безмолвствует; в недрах материка  
распеваёт горлинка. Но ни той, ни другой не слышно.  
Повисший над пресным каналом мост  
удерживает расплывчатый противоположный берег  
от попытки совсем отделиться и выйти в море.  
Так, дохнув на стекло, выводят инициалы  
тех, с чьим отсутствием не смириться;  
и подтек превращает заветный вензель  
в хвост морского конька. Вбирай же красной  
губкой легких плотный молочный пар,  
выдыхаемый всплывшую Амфитритой  
и ее нереидами! Протяни  
руку — и кончики пальцев коснутся торса,  
покрытого мелкими пузырьками  
и пахнущего, как в детстве, йодом.

### III

Выстиранная, выглаженная простыня  
залива шуршит оборками, и бесцветный  
воздух на миг сгущается в голубя или в чайку,  
но тотчас растворяется. Вытащенные из воды

лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки,  
как непарная обувь, разбросаны на песке,  
поскрипывающем под подошвой. Помни:  
любое движенье, по сути, есть  
перенесение тяжести тела в другое место.  
Помни, что прошлому не уложиться  
без остатка в памяти, что ему  
необходимо будущее. Твердо помни:  
только вода, и она одна,  
всегда и везде остается верной  
себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,  
находящейся там, где сухой земли  
больше нет. И патетика жизни с ее началом,  
серединой, редеющим календарем, концом  
и т.д. стушевывается в виду  
вечной, мелкой, бесцветной ряби.

Жесткая, мертвая проволока виноградной  
лозы мелко вздрагивает от собственного напряженья.  
Деревья в черном саду ничем  
не отличаются от ограды, выглядящей  
как человек, которому больше не в чем  
и — главное — некому признаваться.  
Смеркается; безветрие, тишина.  
Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого  
тростника. Пинаемая носком  
жестянка взлетает в воздух и пропадает  
из виду. Даже спустя минуту  
не расслышать звука ее паденья  
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.

## КВИНТЕТ

### I

Веко подергивается. Изо рта  
вырывается тишина. Европейские города  
настигают друг друга на станциях. Запах мыла  
выдает обитателю джунглей приближающегося врага.  
Там, где ступила твоя нога,  
возникают белые пятна на карте мира.

В горле першил. Путешественник просит пить.  
Дети, которых надо бить,  
оглашают воздух пронзительным криком. Веко  
подергивается. Что до колонн, из-за  
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,  
даже во сне вы видите человека.

И накапливается как плевок в груди:  
«Дай мне чернил и бумаги, а сам уди  
прочь!» И веко подергивается. Невнятные причитанья  
за стеной (будто молются) увеличиваются тоску.  
Чудовищность творящегося в мозгу  
придает незнакомой комнате знакомые очертанья.

### II

Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты  
вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты.  
Но — темнеет. Присядь, перекинься шуткой  
с говорящей по-южному, нараспев,  
обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев  
стать человеком, сделалась проституткой.

Лучше плыть пароходом, качающимся на волне,  
участвуя в географии, в голубизне, а не  
только в истории — этой коросте суши.  
Лучше Гренландию пересекать, скрипя

лыжами, оставляя после себя  
айсберги и тюлени туши.

Алфавит не даст позабыть тебе  
цель твоего путешествия — точку «Б».  
Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай;  
слышен лай дворняг, рожь заглушил сорняк;  
там, как над шкуркой зверька скорняк,  
офицеры Генштаба орудуют над порыжевшей картой.

### III

Тридцать семь лет я смотрю в огонь.  
Веко подергивается. Ладонь  
покрываются потом. Полицейский, взяв документы,  
выходит в другую комнату. Воздвигнутый вспыхах,  
обелиск кончается нехотя в облаках,  
как удар по Эвклиду, как след кометы.

Ночь; дожив до седин, ужинаешь один,  
сам себе быдло, сам себе господин.  
Вобла лежит поперек крупно набранного сообщенья  
об изверженны вулкана чорт знает где,  
иными словами, в чужой среде,  
упираясь хвостом в «Последние Запрещенья».

Я понимаю только жужжанье мух  
на восточных базарах! На тротуаре в двух  
шагах от гостиницы, рыбой попавшей в сети,  
путешественник ловит воздух раскрытым ртом:  
сильная боль, на этом убив, на том  
продолжается свете.

### IV

«Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор,  
племянник. И, пальцем блуждая по складкам гор,  
«Здесь» — говорит племянница. Поскрипывают качели  
в старом саду. На столе букет

фиалок. Солнце слепит паркет.  
Из гостиной доносятся пассажи виолончели.

Ночью над плоскогорьем висит луна.  
От валуна отделяется тень слона.  
В серебре ручья нет никакой корысти.  
В одинокой комнате простыню  
комкает белое /смуглое/ просто ню —  
жидопись неизвестной кисти.

Весной в грязи копошится труженик-муравей,  
появляется грач, твари иных кровей;  
листва прикрывает ствол в месте его изгиба.  
Осенью ястреб дает круги  
над селеньем, считая цыплят. И на плечах слуги  
болтается белый пиджак сагиба...

## V

Было ли сказано слово? И если да, —  
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда  
нужно бросить в стакан, чтобы остановить Титаник  
мысли? Помнит ли целое роль частиц?  
Что способен подумать при виде птиц  
в аквариуме ботаник?

Теперь представим себе абсолютную пустоту.  
Место без времени. Собственно воздух. В ту  
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка  
воздуха. Кислород, водород. И в нем  
мелко подергивается день за днем  
одинокое веко.

Это — записки натуралиста. За-  
писки натуралиста. Капающая слеза  
падает в вакууме без всякого ускоренья.  
Вечнозеленое неврастение, слыша жжу  
це-це будущего, я дрожу  
вцепившись ногтями в свои коренья.

## ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ

### I

«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон, убаюканный ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невесёлые, нечётные годовщины. Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке. Небо тоже искошто шпилями, как лопатки и затылок больного (которого только спину мы и видим). И я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей, возлюбленной, Дикой Утки писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица. Почему-то вокруг всё больше бумаги, всё меньше риса».

### II

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «о». Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли — тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова перекидывается на цифры; особенно на ноли.

Ветер несет на Запад, как желтые семена из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена. На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф; как любые другие неразборчивые письмена.

**Движение в одну сторону превращает меня  
в нечто вытянутое, как голова коня.  
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени  
о сухие колосья дикого ячменя».**

## ЭЛЕГИЯ

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу  
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связки  
не чета голой мышце, волосу, багажу  
под холодными буркалами, и не бздюме утряски  
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук  
не изнашивается в результате тренья  
о разреженный воздух, но, близорук, из двух  
зол выбирает обычно большее: повторенье  
некогда сказанного. Трезвая голова  
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,  
точно пластинка, стачивая слова,  
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку  
из заросшей извилины — как отдавая честь  
наважденью в форме нехватки текста  
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть  
вещи, предметы, между собой столь тесно  
связанные, что, норовя прослыть  
подлинно матерью и т.д. и т.п., природа  
могла бы сдлать еще один шаг и слить  
их воедино: тум-тум фокстрота  
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас  
в крайнем случае. То есть, повысить в ранге  
достиженья Мичурина. У щуки уже сейчас  
чешуя цвета консервной банки,  
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей  
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,  
чем увеличивает; вспомни размер зверей  
в плейстоценовой чаще. Мы — только части  
крупного целого, из коего вьется нить  
к нам, как шнур телефона, от динозавра  
оставляя простой позвоночник. Но позвонить  
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,  
где откликнется лишь инвалид — зане  
потерявший конечность, подругу, душу  
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне  
как выползти из воды на сушу.

## ПЬЯЦЦА МАТТЕИ

### I

Я пил из этого фонтана  
в ущелье Рима.  
Теперь, не замочив кафтана,  
канаю мимо.  
Моя подружка Микелина,  
в порядке штрафа  
мне предпочла кормить павлина  
в именье графа.

### II

Граф, в сущности, совсем не мерзок:  
он сед и строен.  
Я был с ним по-российски дерзок,  
он был расстроен.  
Но что трагедия, измена  
для славянина,  
то ерунда для джентльмена  
и дворянина.

### III

Граф выиграл, до клубнички лаком,  
в игре без правил.  
Он ставит Микелину раком,  
как преждеставил.  
Я тоже, впрочем, не в накладе:  
и в Риме тоже  
теперь есть место крикнуть «Бляди!»  
вздохнуть «О Боже».

IV

Не смешивает пахарь с пашней  
плодов плачевых.  
Потери, точно скот домашний,  
блюдет кочевник.  
Чем был бы Рим иначе? гидом,  
толпой музея,  
автобусом, отелем, видом  
Терм, Колизея.

V

А так он — место грусти, выи  
склоненной в баре  
и двери, запертой на виа  
дельи Фуниари.  
Сидишь, обдумывая строчку,  
и, пригорюнясь,  
глядишь в невидимую точку:  
почти что юность.

VI

Как возвышает это дело!  
Как в миг печали  
все забываешь: юбку, тело,  
где, как кончали.  
Пусть ты последняя рваница,  
пыль под забором,  
на джентльмена, дворянина  
кладешь с прибором.

VII

Нет, я вам доложу, утрата,  
зaval, непруха  
из вас творят аристократа  
хотя бы духа.

Забудем о дешевом графе!  
Заломим брови!  
Поддать мы в миг печали вправе  
хоть с принцем крови!

### VIII

Зима. Звенит хрусталь фонтана.  
Цвет неба — синий.  
Подсчитывает трамонтана  
иголки пиний.  
Что год от февраля отрезал,  
он дрожью роздал,  
и кутается в тогу цезарь  
(верней, апостол).

### IX

В морозном воздухе, на редкость  
прозрачном, око,  
невольно наводясь на резкость,  
глядит далеко —  
на Север, где в чаду и в дыме  
кует червонцы  
Европа мрачная. Я — в Риме,  
где светит солнце!

### X

Я, пасынок державы дикой  
с разбитой мордой,  
другой, не менее великой  
приемыш гордый, —  
я счастлив в этой колыбели  
Муз, Права, Граций,  
где Назо и Вергилий пели,  
вещал Гораций.

## XI

Попробуем же отстраниться,  
взять век в кавычки.  
Быть может, и в мои страницы  
как в их таблички,  
кириллицею не побрезгав  
и без ущерба  
для зренья, главная из Резвых  
взгляднет — Эвтерпа.

## XII

Не в драке, я считаю, счастье  
в чертоге царском,  
но в том, чтоб, обручив запястье  
с котлом швейцарским,  
остаток плоти терракоте  
подвергнуть, сини,  
исколотой Буонаротти  
и Боромини.

## XIII

Спасибо, Парки, Провиденье,  
ты, друг-издатель,  
за перечисленные деньги.  
Сего податель,  
векам грядущим в назиданье  
пьет чоколатта  
кон панна в центре мирозданья  
и циферблата!

## XIV

С холма, где говорил октавой  
порой иною  
Тасс, созерцаю величавый  
вид. Предо мною —

не купола, не черепица  
со Св. Отцами:  
то — мир вскормившая волчица  
спит вверх сосцами!

## XV

И в логове ее я — дома!  
Мой рот оскален  
от радости: ему знакома  
судьба развалин.  
Огрызок цезаря, атлета,  
певца тем паче  
есть вариант автопортрета.  
Скажу иначе:

## XVI

Усталый раб — из той породы,  
что зrim все чаще —  
под занавес глотнул свободы.  
Она посланце  
любви, привязанности, веры  
(креста, овала)  
поскольку и до нашей эры  
существовала.

## XVII

Ей свойственно, к тому ж, упрямство.  
Покуда Время  
не поглупеет как Пространство  
(что вряд ли), семя  
свободы в злом чертополохе,  
в любом пейзаже  
даст из удушливой эпохи  
 побег. И даже

## XVIII

сорвись все звезды с небосвода,  
исчезни местность,  
все ж не оставлена свобода,  
чья дочь — словесность.  
Она, пока есть в горле влага,  
не без приюта.  
Скрипи, перо. Черней, бумага.  
Лети, минута.

# СТИХИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1980-го ГОДА

«В полдневный зной в долине Дагестана»  
М. Ю. Лермонтов

## I

Скорость пули при низкой температуре  
сильно зависит от свойств мишени,  
от стремленья согреться в мускулатуре  
торса, в сложных переплетеньях шеи.  
Камни лежат, как второе войско.  
Тень вжимается в суглинок поневоле.  
Небо — как осыпающаяся известка.  
Самолет растворяется в нем наподобье моли.  
И пружиной из вспоротого матраса  
поднимается взрыв. Брезгающая воронкой  
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться  
в грунт, покрывается твердой пленкой.

## II

Север, пастух и сеятель, гонит стадо  
к морю, на Юг, распространяя холод.  
Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.  
Механический слон, задирая хобот  
в ужасе перед черной мышью  
мины в снегу, изрыгает к горлу  
подступивший комок, одержимый мыслью,  
как Магомет, сдвинуть с места гору.  
Снег лежит на вершинах; небесная кладовая  
отпускает им в полдень сухой избыток.  
Горы не двигаются, передавая  
свою неподвижность телам убитых.

## III

Заунывное пение славянина  
вечером в Азии. Мерзнущая, сырья

человеческая свинина  
лежит на полу караван-сарай.  
Тлеет кизяк, ноги окоченели;  
пахнет тряпьем, позабытой баней.  
Сны одинаковы, как шинели.  
Больше патронов, нежели воспоминаний,  
и во рту от многих «ура» осадок.  
Слава тем, кто не поднимая взора  
шли в абортарий в шестидесятых,  
спасая отчество от позора!

#### IV

В чем содержанье жужжанья трутня?  
В чем — летательного аппарата?  
Жить становится так же трудно,  
как строить домик из винограда  
или — карточные ансамбли.  
Все неустойчиво (раз — и сдуло):  
семьи, частные мысли, сакли.  
Над развалинами аула  
ночь. Ходя под себя мазутом,  
стынет железо. Луна от страха  
потонуть в сапоге разутом  
прячется в тучи, точно в чалму Аллаха.

#### V

Праздный, никем не вдыхаемый больше воздух.  
Ввезденная, сваленная как попало  
тишина. Растиущая, как опара,  
пустота. Существуй на звездах  
жизнь, раздались бы аплодисменты,  
к рампе бы выбежал артиллерист, мигая.  
Убийство — наивная форма смерти,  
тавтология, ария попугая,  
дело рук, как правило, цепкой бровью  
муху жизни ловящей в своих прицелах  
молодежи, знакомой с кровью  
понаслышке или по ломке целок.

## VI

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса  
ямку, заляг и слушай «уу» сирены.  
Новое оледененье — оледененье рабства  
наползает на глобус. Его морены  
подминают державы, воспоминанья, блузки.  
Бормоча, выкатывая орбиты,  
мы превращаемся в будущие моллюски,  
бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.  
Дует из коридора, скважин, квадратных окон.  
Поверни выключатель, свернись в калачик.  
Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.  
Утром уже не встать с карачек.

## VII

В стратосфере, всеми забыта, сучка  
лает, глядя в иллюминатор.  
«Шарик! Шарик! Прием. Я — Жучка».  
Шарик внизу, и на нем экватор.  
Как ошейник. Склоны, поля, овраги  
повторяют своей близнецом скулы.  
Краска стыда вся ушла на флаги.  
И в занесенной подклети куры  
тоже, вздрагивая от побудки,  
кладут непорочного цвета яйца.  
Если что-то чернеет, то только буквы.  
Как следы уцелевшего чудом зайца.

1980

## ПОЛОНЕЗ: ВАРИАЦИЯ

### I

Осень в твоем полушарье кричит «курлы».  
С обнищавшей державы сползает границ подпруга.  
И, хотя окно не закрыто, уже углы  
привыкают к сорочке, как к центру круга.  
А как лампу зажжешь, хоть строчи донос  
на себя в никуда, и перо — улика.  
Плюс могилы нет, чтоб исправить нос  
в пианино ушедшего Фредерика.  
В полнолуние живьё из чужой казны  
серебром одаривает мочезжина.  
Повернешься на бок к стене, и сны  
двинут оттуда, как та дружина,  
через двор на зады, прорывать кольцо  
конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ.  
И затем что все на одно лицо,  
согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь.

### II

Черепица фольварков да желтый цвет  
штукатурки подворья, карнизы — бровью.  
Балагола одним колесом в кювет  
либо — мерин копытом в луну коровью.  
И мелькают стога, завалившись в Буг.  
Вспять плетется ольшаник с водой в корзинах,  
и в распаханных тучах свинцовый плуг  
не сулит добра площадям озимых.  
Твой холщевый подол, шерстяной чулок,  
как ничей ребенок, когтил репейник.  
На соровую нитку пространство впрок  
зашивает дождем — и прощай Коперник.  
Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет  
тела с россыпью родинок застит платье.  
Для самой себя уже силуэт,  
ты упасть не способна ни в чьи объятья.

### III

Понимаю, что можно любить сильней,  
безупречней. Что можно, как сын Кибелы,  
оценить темноту и, смешавшись с ней,  
выпасть незримо в твои пределы.

Можно, пору за порой, твои черты  
воссоздать из молекул пером сугубым.  
Либо, в зеркало вперясь, сказать что ты  
это — я; потому что кого ж мы любим,  
как не себя? Но запишем судьбе очко:  
в нашем будущем, как бы брегет ни медлил,  
уже взорвалась та бомба, что  
оставляет нетронутой только мебель.  
Безразлично, кто от кого в бегах:  
ни пространство, ни время для нас не сводня,  
и к тому, как мы будем всегда, в веках,  
лучше привыкнуть уже сегодня.

## ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (1)

*Сюзанне Зонтаг*

### I

Мокрая кόновязь пристани. Понурая ездовая  
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.  
Скрипичные грифы гόндол покачиваются, издавая  
вразнобой тишину.  
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,  
и рука, дотянуться до горлышка коротка,  
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго  
каменного платка.

### II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.  
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:  
дева в шальварах наигрывает на лютне  
такому же Мустафе.  
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза  
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,  
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,  
писавших, что — от любви.

### III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузé, ни арий.  
Одинокий каблук выступивает диабаз.  
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,  
отшатывается от вас  
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем  
с собственным эхом; оно обдаёт теплом  
мраморный, гулкий, пустой аквариум  
с запотевшим стеклом.

## IV

За золотой чешуей всплыvших в канале окон —  
масло в бронзовых рамках, угол рояля, вещь.  
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!  
жаброй хлопая, лещ!  
От нечаянной встречи под потолком с богиней,  
бросившей все с себя, кружится голова,  
и подъезды, чье нёбо воспалено ангиной  
лампочки, произносят «а».

## V

Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!  
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал  
зеркала! В епанче белый глубокий вырез  
как волновал!  
Как сирокко — лагуну. Как посреди панели  
здесь превращались юбки и панталоны в щи!  
Где они все теперь — эти маски, полишинели,  
перевертни, плащи?

## VI

Так меркнут люстры в опере; так на убыль  
к ночи идут в объеме медузами купола.  
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,  
и площадь — как камбала.  
Так подбирает гребни, выпавшие из женских  
взбитых причесок, для дочерей Нерей,  
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг  
уличных фонарей.

## VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке  
воздуха удержать ноту от тишины,  
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,

плохо освещены.

Только фальцет звезды меж телеграфных линий —  
там, где глубоким сном спит гражданин Перми.\*  
Но вода аплодирует, и набережная — как иней,  
осевший на до-ре-ми.

### VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,  
спихивая как за борт буквы в конец строки,  
тщится рассудок предохранить от крена  
выпитому вопреки.

Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,  
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,  
как к горячemu зеркалу, с чьей амальгамы пальцем  
нежность не соскести.

1982

\*С. Дягилев

## ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ(2)

Геннадию Шмакову

### I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.  
От пощечины булочника матовая щека  
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус  
в лавке ростовщика.  
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде  
школьники на бегу, утренние лучи  
перебирают колонны, аркады, пряди  
водорослей, кирпичи.

### II

Долго светает. Голый, холодный мрамор  
бедер новой Сусанны сопровождаем при  
погружении под воду стрекотом кинокамер  
новых старцев. Два-три  
грузных голубя, снявшихся с капители,  
на лету превращаются в чаек: таков налог  
на полет над водой, либо — поклеп постели,  
сонный, на потолок.

### III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки  
спящей красавицы, что ко всему глуха.  
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,  
и ангелы — от греха.  
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.  
Пена бледного шелка захлестывает, легка,  
стулья и зеркало — местный стеклянный выход  
вещи из тупика.

## IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную  
раковину затопляет дребезг колоколов.  
То бредут к водопою глотнуть речную  
рябь стада куполов.  
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,  
крепкий кофе, скомканное тряпье.  
И макает в горло дракона златой Егорий,  
как в чернила, копье.

## V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,  
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,  
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,  
и сдается стеклу.  
Кучерявая свора тщится настигнуть вора  
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.  
Город выглядит как толчея фарфора  
и битого хрустала.

## VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,  
как непарная обувь с ноги Творца,  
ревностно топчут шпили, пилисты, арки,  
выраженье лица.  
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме  
самоей  $\text{H}_2\text{O}$ . Но, как всякое в мире «за»,  
в меньшинстве оставляет ее и кровли  
праздная бирюза.

## VII

Так выходят из вод, ошеломленные гладью  
кожи бугристый берег, с цветком в руке,  
забывая про платье, предоставляя платью

всплескивать вдалеке.

Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут водорослями, отличаясь от вообще людей, голубей отрывая от сумасшедших шахмат на торцах площадей.

### VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле под открытым небом, зимой, в одном пиджаке, поддав, раздвигая скулы фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней мелких бликов тусклый зрачок казня за стремление запомнить пейзаж, способный обойтись без меня.

1982

## РЕЗИДЕНЦИЯ

Небольшой особняк на проспекте Сарданапала.  
Пара чугунных львов с комплексом задних лап.  
Фортепьяно в гостиной, точно лакей-арап,  
скалит зубы, в которых, короткопала  
и близорука, ковыряет средь бела дня  
внучка хозяина. Пахнет лавандой. Всюду,  
даже в кухне, лоснится, дразня посуду,  
образ, в масле, мыслителя, чья родня  
доживает в Европе. И отсюда — тома Золя,  
Бальзака, канделябры, балясины, капители  
и вообще колоннада, в чьем стройном теле  
размещены установки класса «земля-земля».

Но уютней всего в восточном — его — крыле.  
В окнах спальни синеет ольшаник не то орешник,  
и сверчок верещит, не говоря уже о скворешнях  
с их сверхчувствительными реле.  
Здесь можно вечером щелкнуть дверным замком,  
остаться в одной сиреневой телогрейке.  
Вдалеке воронье гнездо как шахна еврейки  
с которой был в молодости знаком,  
но спасибо расстались. И ничто так не клонит в сон,  
как восьмизначные цифры, составленные в колонку  
да предсмертные вопли сознавшегося во всем  
сына, записанные на пленку.

## АРИЯ

### I

Что-нибудь из другой  
оперы, типа Верди.  
Мало ли под рукой?  
Вообще — в круговерти.  
Безразлично о ком.  
Трудным для подражанья  
птичким языком.  
Лишь бы без содержанья.

### II

Скоро мне полста.  
Вон гоношится бобрик  
стриженного куста.  
Вон изменяет облик,  
как очертанья льдин,  
марля небесных клиник.  
Что это, я — один?  
Или зашел в малинник?

### III

Розовый истукан  
здесь я себе поставил.  
В двух шагах — океан,  
место воды без правил.  
Вряд ли там кто-нибудь,  
кроме солнца, садится,  
как успела шепнуть  
аэроплану птица.

### IV

Что-нибудь про спираль  
в башне. И про араба

и про его сераль.  
Это редкая баба  
если не согрешит.  
Мысль не должна быть четкой.  
Если в горле першит,  
можно рискнуть чечеткой.

V

Глянь, день прошел. Пчела  
шепчет по-польски «збродня».  
Лучше кричать вчера,  
чем сегодня. Сегодня  
оттого мы кричим,  
что, дав простор подошвам,  
жизнь, не щадя причин,  
топчется в нашем прошлом.

VI

Ах, потерявши нить,  
«моль» говорит холстинка.  
Взгляда не уронить  
ниже, чем след ботинка.  
У пейзажа — черты  
вывернутого кармана.  
Пение сироты  
радует меломана.

## РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

*Бенедетто Кравиери.*

### I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.  
Под потолком — пыльный хрустальный остров.  
Жалюзи в час заката подобны рыбе,  
перепутавшей чешую и остов.  
Ставя босую ногу на красный мрамор,  
тело делает шаг в будущее — одеться.  
Крикни сейчас «замри» — я бы тотчас замер,  
как этот город сделал от счастья в детстве.  
Мир состоит из наготы и складок.  
В этих последних больше любви, чем в лицах.  
Так и тенор в опере тем и сладок,  
что исчезает навек в кулисах.  
На ночь глядя, синий зрачок полощет  
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.  
И луна в головах, точно пустая площадь:  
без фонтана. Но из того же камня.

### II

Месяц замерших маятников (в августе расторопна  
только муха в гортани высохшего графина).  
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно  
прожекторам ПВО в поисках серафима.  
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,  
потного двойника в зеркале над комодом,  
пчел, позабывших расположенье ульев  
и улетевших к морю покрыться медом.  
Хлопочи же, струя, над белоснежной, дряблой  
мышцей, играй куделью седых подпалин.  
Для бездомного торса и праздных граблей  
ничего нет ближе, чем вид развалин.  
Да и они в ломаном «р» еврея

узнают себя тоже; только слюнным раствором  
и скрепляешь осколки, покамест Время  
варварским взглядом обводит форум.

### III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.  
Облака вроде ангелов — в силу летучей тени.  
Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним  
длинноногой подруги. Я, певец дребедени,  
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь  
в недрах вечного города от светила,  
навязавшего цезарям их незрячесть  
(этих лучей заглаза б хватило  
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь  
полдня. Владелец «весны» мучает передачу.  
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль  
считаю с прожитой жизни сдачу.  
И как книга, раскрытая сразу на всех страницах,  
лавр шелестит на выжженной балюстраде.  
И Колизей — точно череп Аргуса, в чьих глазницах  
облака проплывают, как память о бывшем стаде.

### IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа  
той из них, что прекрасней. Два молодых овала  
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза  
объясняет Судьбе то, что надиктовала.  
Шорох старой бумаги, красного крепдешина,  
воздух пропитан лавандой и цикламеном.  
Перемена прически; и локоть — на миг — вершина,  
привыкшая к ветреным переменам.  
О, коричневый глаз впитывает без усилий  
мебель того же цвета, штору, плоды граната.  
Он и зорче, он и нежней, чем синий.  
Но синему — ничего не надо!  
Синий всегда готов отличить владельца

от товаров, брошенных вперемежку  
(т.е. время — от жизни), дабы в него взглянуться.  
Так орел стремится взглянуться в решку.

### III.

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.  
Тишина уснувшего переулка  
обрастает бемолью, как чешуею рыба,  
и коричневая штукатурка  
дышил, хлопая жаброй, прелым  
воздухом августа, и в горячей  
полости горла холодным перлом  
перекатывается Гораций.  
Я не воздвиг уходящей к тучам  
каменной вещи для их остротки.  
О своем — и о любом — грядущем  
я узнал у буквы, у черной краски.  
Так задремывают в обнимку  
с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе  
сны, себя опознать по снимку,  
очнувшись в более длинной жизни.

### VI

Обними чистый воздух, а ля ветви местных пиний:  
в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.  
Но и птичка из туч вниз не вернется синей,  
да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.  
Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,  
выси и проч. брезгают гладью кожи.  
Тело обратно пространству, как ни крути педали.  
И несчастны мы, видимо, оттого же.  
Привались лучше к портику, скинь бахилы,  
сквозь рубашку стена холодит предплечье;  
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,  
как вода, наставница красноречья,  
льется из ржавых скважин, не повторяя

ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,  
кроме того, что она — сырая  
и превращает лицо в руину.

## VII

В этих узких улицах, где громоздка  
даже мысль о себе, в этом клубке извилин  
прекратившего думать о мире мозга,  
где то взвинчен, то обессилен,  
переставляешь на площадях ботинки  
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви  
— так иголка шаркает по пластинке,  
забывая остановиться в центре, —  
можно смириться с невзрачной дробью  
остающейся жизни, с влеченьем прошлой  
жизни к законченности, к подобью  
целого. Звук, из земли подошвой  
извлекаемый — ария их союза,  
серенада, которую время оно  
напевает грядущему. Это и есть Карузо  
для собаки, сбежавшей от граммофона.

## VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,  
трепещи, пригинаям выдохом углекислым,  
следуй — не приближаясь! — за вереницей  
литер, стоящих в очередях за смыслом.  
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише  
— большую площадь, чем покрывает почерк!  
Да и копоть твоя воспаряет выше  
помыслов автора этих строчек.  
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;  
вечным пером, в память твоих субтильных  
запятых, на исходе тысячелетья в Риме  
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,  
а не точку — и комната выглядит как в начале.

(Сочиняя, перо мало что сочинило).

О, сколько света дают ночами  
сливающиеся с темнотой чернила!

## IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.  
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.  
Ястреб над головой, как квадратный корень  
из бездонного, как до молитвы, неба.  
Свет пожинает больше, чем он посеял:  
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.  
В этих широтах все окна глядят на Север,  
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.  
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,  
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,  
не способная взгляда остановить равнина,  
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.  
Больше туда не выдвигать кордона.  
Только буквы в когорты строит перо на Юге.  
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,  
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

## X

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.  
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.  
С помощью мятой куртки и голубой рубахи  
что-то еще отражается в зеркале гардероба.  
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.  
Воздух обложен комнатой, как оброком.  
Сойки, вспорхнув, покидают купы  
пиний — от брошенного ненароком  
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;  
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.  
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо  
тут она безупречна. Так на льду Танаиса  
пропадая из виду, дрожа всем телом,

высохшим лавром прикрывши темя,  
бредут в лежащее за пределом  
всякой великой державы время.

## XI

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.  
Бюст, причинное место, бёдра, колечки ворса.  
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —  
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.  
Вы — источник бессмертья: знавшие вас нагими  
сами стали катуллом, статуями, траяном,  
августом и другими. Временные богини!  
Вам приятнее верить, нежели постоянным.  
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!  
Белый на белом, как мечта казимира,  
летним вечером я, самый смертный прохожий  
среди развалин, торчащих как ребра мира,  
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;  
небо бледней щеки с золотистой мушкой.  
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,  
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

## XII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я  
благодарен за все; за куриный хрящик  
и за стрекот ножниц, уже кроящих  
мне пустоту, раз она — Твоя.  
Ничего, что черна. Ничего, что в ней  
ни руки, ни лица, ни его овала.  
Чем незримей вещь, тем оно верней,  
что она когда-то существовала  
на земле, и тем больше она — везде.  
Ты был первым, с кем это случилось, правда?  
Только то и держится на гвозде,  
что не делится без остатка на два.  
Я был в Риме. Был залит светом. Так,

как только может мечтать обломок!  
На сетчатке моей — золотой пятак.  
Хватит на всю длину потемок.

## ЭКЛОГА 4-Я (ЗИМНЯЯ)

*(Ultima Cumaei venti iam carminis aetas;  
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo...)  
Virgil, Eclogue IV*

### I

Зимой смеркается сразу после обеда.  
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.  
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.  
Сухая, сгущенная форма света —  
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,  
на бессонницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка  
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым  
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами  
оставляют следы. Ночь входит в город, будто  
в детскую: застает ребенка под одеялом;  
и перо скрипит, как чужие сани.

### II

Жизнь моя затянулась. В речитативе выюги  
обострившийся слух различает невольно тему  
оледенения. Всякое «во-саду-ли»  
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».  
Сильный мороз суть откровенье телу  
о его грядущей температуре

либо — вздох Земли о ее богатом  
галактическом прошлом, о злом морозе.  
Даже здесь щека пунцовоет как редиска.  
Космос всегда отливает слепым агатом,  
и вернувшееся восвояси «морзе»  
попискивает, не застав радиста.

### III

В феврале лиловеют заросли краснотала.  
Неизбежная в профиле снежной бабы  
дорожает морковь. Ограниченный бровью,  
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,  
лютей самого металла — дабы  
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли  
озирал свой труд в день восьмой и после  
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,  
затыкают щели кусками пакли,  
охотней мечтают об общей пользе,  
и вещи становятся старше на год.

### IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.  
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.  
Реже снятся дома, где уже не примут.  
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,  
точных примет с лихвой хватило бы на вторую  
жизнь. Из одних примет можно составить климат

либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,  
с девственной белизной за пеленою кружев,  
— мир, не слыхавший о лондонах и парижах,  
мир, где рассеянный свет — генератор будней,  
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,  
что и тут кто-то прошел на лыжах.

### V

Время есть холод. Всякое тело, рано  
или поздно, становится пищью телескопа:  
остывает с годами, удаляется от светила.  
Стекло зацветает сложным узором: рама  
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа  
и всего, что взрастило

одиночество. Но, как у бюста в нише,  
глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.  
Там, где роятся сны, за пределом зренья,  
время, упавшее сильно ниже  
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик  
шалуна из русского стихотворенья.

## VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,  
время — на время. Единственная преграда —  
теплое тело. Упрямое как ослица,  
стоит оно между ними, поднявши ворот,  
как пограничник держась приклада,  
грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимою на самом деле  
вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:  
свет уже выключили или еще не включили?  
Газеты могут печататься раз в неделю.  
Время глядится в зеркало, как певица,  
позабывшая, что это — «Госка» или «Лючия».

## VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.  
Ход конем лоскутное одеяло  
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.  
Чем больше лютует пурга над кровлей,  
тем жарче требует идеала  
голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек  
в тесном ущелье, мушиный куколь  
между стеной и торцом буфета:  
праздник кончиков пальцев в плenу бretелек.  
А потом все стихает. Только горячий уголь  
тлеет в серой золе рассвета.

## VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,  
он берет уроцища, веси, грады.  
Населенье сдается, не сняв треуха.  
Города — особенно, чьи ансамбли,  
чью пилястры и колоннады  
стоят как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба  
на парашюте. Всяческая колонна  
выглядит пятой, жаждет переворота.  
Только ворона не принимает снега,  
и вы слышите, как кричит ворона  
картавым голосом патриота.

## IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.  
Т.е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды  
как разбитый термометр: каждый квадратный метр  
ночи ими усеян, как при салюте.  
Днем, когда небо подстать известке,  
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы  
ангелы. Холодносит пользу  
ихнему воинству: их, крылатых,  
мы обнаружили бы, воззри мы  
вправду горé, где они как по льду  
скользят белофиннами в маскхалатах.

## X

Я не способен к жизни в других широтах.  
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.  
Слава голой березе, колючей ели,  
лампочке желтой в пустых воротах,  
— слава всему, что приводит в движенье ветер!  
В зрелом возрасте это — вариант колыбели,

Север — честная вещь. Ибо одно и то же  
он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный голос  
в затянувшейся жизни — разными голосами.  
Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,  
напоминая забравшемуся на полюс  
о любви, о стоянии под часами.

## XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.  
В космосе самый глубокий выдох  
не гарантирует вдоха, уход — возврата.  
Время есть мясо немой Вселенной.  
Там ничего не тикает. Даже выпав  
из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,  
ни Ярославны, хоть на Путинль настроясь.  
Вас убивает на внеземной орбите  
отнюдь не отсутствие кислорода,  
но избыток Времени в чистом, то есть  
без примеси вашей жизни виде.

## XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы  
к чаю, блюдца с дольками мандарина,  
твой миндаль с арахисом, граммов двести.  
Ты раскрывавешь цыплячий клюквы  
именами «Ольга» или «Марина»,  
произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба  
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —  
точно «чижика» где подбирает рука Господня.  
И дрова, грохочавшие в гулких дворах сырого  
города, мерзнувшего у моря,  
меня согревают еще сегодня.

### XIII

В определенном возрасте время года  
совпадает с судьбой. Их роман недолог,  
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.  
В эту пору неважно, что вам чего-то  
не досталось; и рядовой фенолог  
может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстает от жеста.  
Треугольник больше не пылкая теорема:  
все углы затянула плотная паутина,  
пыль. В разговорах о смерти место  
играет все большую роль, чем время,  
и слюна, как полтина,

### XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже  
скованы льдом; можно надеть рейтзузы,  
прикрутить к ботинку железный полоз.  
Зубы, устав от чечетки стужи,  
не стучат от страха. И голос Музы  
звучит как сдержанный, частный голос.

Так родится эклога. Взамен светила  
загорается лампа: кириллица, грешным делом,  
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,  
знает больше, чем та сивилла,  
о грядущем. О том, как чернеть на белом,  
покуда белое есть, и после.

## ЭКЛОГА 5-Я: ЛЕТНЯЯ

### I

Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!  
Потные муравьи спят в тени курслера.  
Муха сползает с пыльного эполета  
лопуха, разжалованного в рядовые.  
Выраженье «ниже травы» впервые  
означает гусениц. Буровые

вышки разросшегося кипрея  
в джунглях бурьяна, выонка, пырея  
синеют от близости эмпирея.  
Салют бесцветного болиголова  
сотрясаем грабками пожилого  
богомола. Темно-лилова,

сердцевина репейника напоминает мину,  
взорвавшуюся как бы наполовину.  
Дягиль тянется точно рука к графину.  
И паук, как рыбачка, латает крепкой  
ниткой свой невод, распятый терпкой  
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак  
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,  
меняющийся каждый миг рисунок  
конского щавеля, дрожь люцерны,  
чабреца, тимофеевки — драгоценны  
для понимания законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел  
в полдень отбрасывают на север  
общую тень, ибо их посеял  
тот же ветреный сеятель, кривотолки  
о котором и по сей день не смолкли.  
Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки! что лепечет  
ромашки отрывистый чет и нечет!  
как мать-и-мачеха им перечит,  
как болтает, точно на грани бреда,  
примятая лебедою Леда  
нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,  
пирамиды крапивы, жара и одурь.  
Пагоды папоротника. Поодаль —  
анис как рухнувшая колонна,  
минарет шалфея в момент наклона —  
травяная копия Вавилона,

зеленая версия Третьяеримска!  
где вправо сворачиваешь не без риска  
вынырнуть слева: все далеко и близко.  
И кузнечик в погоне за балериной  
капустницы, как герой былинный,  
замирает перед сухой былинкой.

## II

Воздух, бесцветный вдали, в пейзаже  
выглядит синим. Порою — даже  
темно-синим. Возможно, та же  
вещь случается с зеленью: удаленность  
взора от злака и есть зеленость  
оного злака. В июле склонность

флоры к разрыву с натуралистом,  
дав потемнеть и набрякнуть листьям,  
передается с загаром лицам.  
Сумма красивых и некрасивых,  
удаляясь и приближаясь, в силах  
глаз измучить почище синих

и зеленых пространств. Окраска  
вещи на самом деле маска  
бесконечности, жадной к деталям. Масса,

узы, не кратное от деленья  
энергии на скорость зренья  
в квадрате, но ощущенье тренья

о себе подобных. Вглядись в пространство!  
в его одинаковое убранство  
поблизости и вдалеке! в упрямство,  
с каким, независимо от размера,  
зелень и голубая сфера  
сохраняют колер. Это — почти что вера,

род фанатизма! Жужжанье мухи,  
увязшей в липучке — не голос муки,  
но попытка автопортрета в звуке  
«ж». Подобие алфавита,  
тепло есть знак размноженья вида  
за горизонт. И пейзаж — лишь свита

убежавших в Азию, к стройным пальмам,  
óbоей. Верное ставням, спальням,  
утро в июле мусолит пальцем  
пачки жасминовых ассигнаций,  
лопаются стручки акаций,  
и воздух прозрачнее комбинаций

спящей красавицы. Душный июль! Избыток  
зелени и синевы — избитых  
форм бытия. И в глазных орbitах —  
остановившееся, как Атилла  
перед мятым щитом, светило:  
дальше попросту не хватило

означенной голубой кудели  
воздуха. В одушевленном теле  
свет узнает о своем пределе  
и преломляется, как в итоге  
длинной дороги, о чьем истоке  
лучше не думать. В конце дороги —

### III

бабочки, мальвы, благоуханье сена,  
река вроде Оредежи или Сейма,  
расположившиеся подле семьи  
дачников, розовые наяды,  
их рискованные наряды,  
плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,  
скрывающий белизну опальных  
мест у скользящих купальник  
в зарослях; запах хвои, обрывы  
цвета охры; жара, наплывы  
облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О водоемы лета! Чаще  
всего блестящие где-то в чаще  
пруды или озёра — части  
воды, окруженные сушей; шелест  
осоки и камышей, замшелость  
коряги, нежная ряска, прелесть

желтых кувшинок, бесстрастность лилий,  
водоросли — или рай для линий —  
и шастающий, как Христос, по синей  
глади жук-плавунец. И порою окунь  
всплеснет, дабы окинуть оком  
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.  
Лето! пора рубах на выпуск,  
разговоров про ядовитость  
грибов, о поганках, о белых пятнах  
мухоморов, полемики об опятах  
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,  
где в полдень истома глаза смеjaет,  
где пчела, если вдруг ужалит,  
то приняв вас сослепу за маxровый

мак или за вещь, коровой  
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.  
Лес — как ломанная расческа.  
И внезапная мысль о себе подростка:  
«выше кустарника, ниже ели»  
оглушает его на всю жизнь. И еле  
видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки  
к экзаменам, формул, орла и решки;  
прыщи, буббони одних, задержки  
других — от страха, что не осилишь;  
силиэты техникумов, училищ  
даже во сне. Лишь хлысты удилищ

с присвистом прочь отгоняют беды.  
В образовавшиеся просветы  
видны сандалии, велосипеды  
в траве; никелированные педали  
как петлицы кителей, как медали.  
В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века,  
европы, железных дорог — чья ветка  
и впрямь как от порыва ветра  
дает зеленые полустанки —  
лес, водокачка, лицо крестьянки,  
изгородь — и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево  
вырытые рядом со стенкой хлева  
червяки. А потом — телега  
с наваленными на нее кулями,  
и бегущий убранными полями  
проселок. И где-то на дальнем плане

церковь — графином, суслоны, хаты,  
крытые шифером с только скаты  
и стёкла, ради чьих рам закаты

и существуют. И тень от спицы,  
удлиняясь до польской почти границы,  
бежит вдоль обочины за матерком возницы

как лохматая Жучка она же Динка;  
и ты глядишь на носок ботинка,  
в зубах травинка, в мозгу блондинка  
с каменной дачи — и в верхотуре  
только журавль, а не вестник бури.  
Слава нормальной температуре! —

на десять градусов ниже тела.  
Слава всему, до чего есть дело.  
Всему, что еще вам не надоело!  
Рубашке, болтающейся, подсохнув,  
панаме, выглядящей как подсолнух,  
вальсу издалека «На сопках».

#### IV

Развевающиеся занавески летних  
сумерек! крынками полный ледник,  
сталин или хрущев последних  
тонущих в треске цикад известий,  
варенье, сделанное из местной  
брусники. Обмазанные известкой,

щиковотки яблоневой аллеи  
чем темнее становится, тем белее;  
а дальше высятся бармалеи  
настоящих деревьев в сгущенной синьке  
вчера. Кухни, зады, косынки,  
слюдяная форточка керосинки

с адским пламенем. Ужины на верандах!  
Картошка во всех ее вариантах.  
Лук и редиска невероятных  
размеров, укроп, огурцы из кадки,  
помидоры, и все это — прямо с грядки,  
и, наконец, наигравшись в прятки

пыльные емкости! Копоть лампы.  
Пляска теней на стене. Таланты  
и поклонники этого действия. Латы  
самовара и рафинад, от соли  
отличаемый с помощью мухи. Соло  
удода в малиннике. Или — ссоры

лягушек в канаве у сеновала.  
И в латах кипящего самовара —  
ужимки вытянутого овала,  
шорох газеты, курлы отрыжек;  
из гостиной доносится четкий «чижик»;  
и мысль Симонида насчет лодыжек

избавляет на миг каленый  
взгляд от обоев и ответвлений  
боярышника: вид коленей  
всегда недостаточен. Тем дороже  
тело, что ткань, его скрыв, похоже  
помогает скользить по коже,

лишенной узоров, присущих ткани,  
вверх. Тем временем чай, в стакане,  
остывая, туманит грани,  
и пламя в лампе уже померкло.  
А после под одеялом мелко  
дрожит, тускло мерцая, стрелка

нового компаса, определяя  
Север не лучше, чем удалая  
мысль прокурора. Обрывки лая,  
пазы в рассохшемся табурете,  
сонное кукареку в подклети,  
крик паровоза. Потом и эти

звуки смолкают. И глухо — глуще,  
чем это воспринимают уши —  
листва, бесчисленная как души  
живших до нас на земле, лопочет  
нечто на диалекте почек,  
как языками, чей рваный почерк

— кляксы, клинопись лунных пятен —  
ни тебе, ни стене невнятен.  
И долго среди бугров и вмятин  
матраса вертишься, расплетая  
где иероглиф, где запятая;  
и снаружи шумит густая,  
  
еще не желтая, мощь Китая.

1981

## ПРИЛИВ

### I

В северной части мира я отыскал приют,  
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,  
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют  
с криком поверхность рябых зеркал.

Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ.  
В доме — шаром покати, и в станке — кондей.  
Окно с утра занавешено рванью туч.  
Мало земли, и не видать людей.

В этих широтах панует вода. Никто  
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»  
Горизонт себя выворачивает, как пальто,  
наизнанку с помощью рыхлых волн.

И себя отличить не в силах от снятых брюк,  
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез  
либо лампа темнит — трогаешь ихний крюк,  
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».

### II

В северной части мира я отыскал приют,  
между сырым аквилоном и кирпичом,  
здесь, где подковы волн, пока их куют,  
обрастают гривой и ни на чем

не задерживаются, точно мозг, топя  
в завитках перманента набрякший перл.  
Тот, кто привел их в движение, на себя  
приучить их оглядываться не успел!

Здесь кривится губа, и не стоит базальт  
про квадратные вещи, ни про свои черты,  
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,  
чем прилипший к нему человек, чем ты.

И холодный порыв затолкает обратно в пасть  
лай собаки, не то, что твои слова.  
При отсутствии эха, вещь, чтоб ее украсть,  
увеличить приходится раза в два.

### III

В ветреной части мира я отыскал приют.  
Для нее я — присохший ком, но она мне — щит.  
Здесь меня найдут, если за мной придут,  
потому что плотная ткань завсегда морщит.

В этих широтах цвета дурных дрожжей,  
карту избавив от пограничных дрязг,  
точно скатерть, составленная из толчей ножей,  
расстилается, издавая лязг.

И, один приглашенный на этот бескрайний пир,  
я о нем отзовусь, кости не в пример, тепло.  
Потому что, как ни считай, я из чаши пил  
больше, чем по лицу текло.

Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.  
Но покуда Борей забираться в скулу горазд  
и пока толковище в разгаре, пока волну  
давит волна, никто тебя не продаст.

### IV

В северной части мира я водрузил кирпич!  
Знай, что душа со временем пополам  
может всё повторить, как попугай, опричь  
непрерывности, свойственной местным сырым делам!

Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»  
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.  
Плюс пустые дома стоят как давным-давно  
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.  
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,  
убирайся назад, и за постой берут  
выцветанье зрачка, ржавою чешуей.

И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,  
как монах либо мусор, обутый в жесть.  
И громоздкая письменность с ревом идет на слом,  
никому не давая себя прочесть.

## V

Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».  
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.  
Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,  
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»

Все равно, на какую букву себя послать,  
человека всегда настигает его же храп,  
и в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,  
шевелясь, разбираешь, как донный краб.

Вот про что напевал, пряча плавник, лихой  
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,  
заливая глаза на камнях ледяной ухой,  
чтобы ты навострился слагать из костей И. Х.

Так впадает — куда, стыдно сказать — клешня.  
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.  
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,  
чтоб по волнам ступать, не держась перил.

## БЮСТ ТИБЕРИЯ

Приветствуя тебя две тысячи лет  
спустя. Ты тоже был женат на бляди.  
У нас немало общего. К тому же,  
вокруг — твой город. Гвалт, автомобили,  
шпана со шприцами в сырых подъездах,  
развалины. Я, заурядный странник,  
приветствую твой пыльный бюст  
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,  
тебе здесь нет и тридцати. В лице  
уверенность скорей в послушных мышцах,  
чем в будущем их суммы. Голова  
отрубленная скульптором при жизни,  
есть, в сущности, пророчество о власти.  
Всё то, что ниже подбородка, — Рим:  
провинции, откупщики, когорты,  
плюс сонмы чмокающих твой шершавый  
младенцев — наслаждение в ключе  
волчицы, потчующей крошку Рема  
и Ромула. (Те самые уста!  
глаголющие сладко и бессвязно  
в подкладке тоги.) В результате — бюст  
как символ независимости мозга  
от жизни тела. Собственного и  
имперского. Пиши ты свой портрет,  
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто  
в тебе не останавливает взгляда.  
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд  
готов на чем-либо остановиться:  
ни на каком-либо лице, ни на  
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!  
Какая разница, что там бубнят  
Светоний и Тацит, ища причины  
твоей жестокости! Причин на свете нет,  
есть только следствия. И люди жертвы следствий.  
Особенно, в тех подземельях, где  
все признаются — даром, что признанья

под пыткой, как и исповеди в детстве,  
однообразны. Лучшая судьба —  
быть непричастным к истине. Понеже  
она не возвышает. Никого.

Тем паче цезарей. По крайней мере,  
ты выглядишь способным захлебнуться  
скорее в собственной купальне, чем  
великой мыслью. Вообще — не есть ли  
жестокость только ускоренье общей  
судьбы вещей? свободного паденья  
простого тела в вакууме? В нем  
всегда оказываешься в момент паденья.

**Январь.** Нагроможденье облаков  
над зимним городом, как лишний мрамор.  
Бегущий от действительности Тибр.

Фонтаны, бьющие туда, откуда  
никто не смотрит — ни сквозь пальцы, ни  
прищутившись. Другое время!

И за уши не удержать уже  
взбесившегося волка. Ах, Тиберий!

Кто мы такие, чтоб судить тебя?

Ты был чудовищем, но равнодушным  
чудовищем. Но именно чудовищ —  
отнюдь не жертв — природа создает  
по своему подобью. Гораздо  
отраднее — уж если выбирать —  
быть уничтоженным исчадьем ада,  
чем неврастеником. В неполных тридцать,  
с лицом из камня — каменным лицом,  
рассчитанным на два тысячелетья,  
ты выглядишь естественной машиной  
уничтожения, а вовсе не  
рабом страстей, проводником идеи  
и прочая. И защищать тебя  
от вымысла — как защищать деревья  
от листьев с ихних комплексом бессвязно,  
но внятно ропущенного большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень.  
Окно, замызганное зимним светом.

Шум улицы. На качество пространства  
никак не реагирующий бюст...  
Не может быть, что ты меня не слышишь!  
Я тоже опрометью бежал всего  
со мной случившегося и превратился в остров  
с развалинами, с цаплями. И я  
чеканил профиль свой посредством лампы.  
Вручную. Что до сказанного мной,  
мной сказанное никому не нужно —  
и не впоследствии, но уже сейчас.  
Не есть ли это тоже ускоренье  
истории? успешная, увы,  
попытка следствия опередить причину?  
Плюс, тоже в полном вакууме — что  
не гарантирует большого всплеска.  
Раскаяться? Переверстать судьбу?  
Зайти с другой, как говорится, карты?  
Но стоит ли? Радиоактивный дождь  
польет не хуже нас, чем твой историк.  
Кто явится нас проклинать? Звезда?  
Луна? Осатаневший от бесчисленных  
мутаций, с рыхлым туловищем, вечный  
термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас  
на нечто твердое, и он должно быть,  
слегка опешит и прервет буренье.

«Бюст, — скажет он на языке развалин  
и сокращающихся мышц, — бюст, бюст».

## В ОКРЕСТНОСТЯХ АЛЕКСАНДРИИ

*Карлу Профферу*

Каменный шприц впрыскивает героин  
в кучевой, по-зимнему рыхлый мускул.  
Шпион, ворошащий в помойке мусор,  
извлекает смятый чертеж руин.

Повсюду некто на скакуне;  
все копыта — на пьедестале.  
Всадники, стало быть, просто дали  
дуба на собственной простыне.

В сумерках люстра сродни костру,  
пляшут сильфиды, мелькают гузки.  
Пролежавший весь день на «пуске»  
палец мусолит его сестру.

В окнах зыблется нежный тюль,  
терзает голый садовый веник  
шелест вечнозеленых денег,  
непрекращающийся июль.

Помесь лезвия и сырой  
гортани, не произнося ни звука,  
речная поблескивает излука,  
подернутая ледяной корой.

Жертва легких, но друг ресниц,  
воздух прозрачен, зане искалот  
клювами плохо сносящих холод,  
видимых только в профиль птиц.

Се — лежащий плашмя колосс,  
прикрытый бурою оболочкой  
с отделанной кружевом оторочкой  
замерших после шести колес.

Закат, выпуская из щели мышь,  
вгрызается — каждый резец оскален —

в электрический сыр окраин,  
в то, как строить способен лишь  
способный все пережить термит;  
депо, кварталы больничных коек,  
чувствуя близость пустыни в коих,  
прячет с помощью пирамид

горизонтальность свою земля  
цвета тертого кирпича, корицы.  
И поезд подкрадывается, как змея,  
к единственному соску столицы.

1982

Вашингтон

## КЕЛОМЯККИ

### I

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,  
городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни —  
телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров».  
И никаким топором не наколешь дров  
отопить помещенье. Наоборот, иной  
дом согреть порывался своей спиной  
самую зиму и разводил цветы  
в синих стеклах веранды по вечерам; и ты,  
как готовясь к побегу и азимут отыскав,  
засыпала там в шерстяных носках.

### II

Мелкие, плоские волны моря на букву «б»,  
сильно схожие издали с мыслями о себе,  
набегали извилинами на пустынный пляж  
и смерзались в морщины. Сухой мандраж  
голых прутьев боярышника вынуждал порой  
сетчатку покрыться рябой корой.  
А то возникали чайки из снежной мглы,  
как замусоленные ничьей рукой углы  
белого, как пустая бумага, дня;  
и подолгу никто не зажигал огня.

### III

В маленьких городках узнаешь людей  
не в лицо, но по спинам длинных очередей;  
и населенье в субботу выстраивалось гуськом,  
как караван в пустыне за сах. песком  
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.  
В маленьком городе обыкновенно ешь  
то же, что остальные. И отличить себя

можно было от них, лишь срисовывая с рубля  
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,  
либо — видя вещи твои везде.

#### IV

Несмотря на все это, были они крепки,  
эти брошенные спичечные коробки  
с громыхавшими в них посудой двумя-тремя  
сырыми головками. И, воробья кормя,  
на него там смотрели всею семьей в окно,  
где деревья тоже сливались по вечерам в одно  
черное дерево, стараясь перерости  
небо — что и случалось часам к шести,  
когда книга захлопывалась и когда  
от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

#### V

Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,  
дар, холодая внутри, источать тепло  
вовне, постояльцев сближал с жильем,  
и зима простыню на веревке считала своим бельем.  
Это сковывало разговоры; смех  
громко скрипал, оставляя следы, как снег,  
опушавший изморозью, точно хвою, края  
местоимений и превращавший «я»  
в кристалл, отливавший твердою бирюзой,  
но таявший после твоей слезой.

#### VI

Было ли вправду все это? и если да, на кой  
будоражить теперь этих бывших вещей покой,  
вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне,  
имитируя — часто удачно — тот свет во сне?  
Воскресают кто верует: в ангелов, в корни (лес);  
а что Келомякки ведали, кроме рельс

и расписанья железных вещей, свистя  
возникавших из небытия пять минут спустя  
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жесть,  
мысль о любви и успевших сесть?

## VII

Ничего. Негашеная извесь зимних пространств, свой  
корм  
подбиная с пустынных пригородных платформ,  
оставляла на них под тяжестью хвойных лап  
настоящее в черном пальто, чей драп,  
более прочный нежели шевиот,  
предохранил там от будущего и от  
прошлого лучше, чем дымным стеклом — буфет.  
Нет ничего постоянней, чем черный цвет;  
так возникают буквы, либо — мотив «Кармен»,  
так засыпают одетыми противники перемен.

## VII

Больше уже ту дверь не отпирать ключом  
с замысловатой бородкой, и не включить плечом  
электричество в кухне к радости огурца.  
Эта скворешня пережила скворца,  
кучевые и перистые стада.  
С точки зрения времени, нет «тогда»:  
есть только «там». И «там», напрягая взор,  
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,  
шаря в шкафах, роняя на пол роман,  
запуская руку к себе в карман.

## IX

Можно кивнуть и признать, что простой урок  
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,  
что Финляндия спит, затаив в груди  
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,

из алюминия: лучше, видать, для рук.  
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,  
не представить пальму, муху це-це, фокстрот,  
монолог попугая — вернее, тот  
вид параллелей, где голым, поскольку — край  
света, гулял, как дикарь, Маклай.

## X

В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,  
как чужих фотографий, не держат карт —  
даже игральных — как бы кладя предел  
покушеньям судьбы на беззащитность тел.  
Существуют обои; и населенный пункт  
освобождаем ими обычно от внешних пут  
столь успешно, что дым норовит назад  
воротиться в трубу, не подводить фасад;  
что оставляют слившиеся в одно  
белое после себя пятно.

## XI

Не обязательно помнить, как звали тебя, меня;  
тебе достаточно блузки и мне — ремня,  
чтобы увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),  
что безымянность нам в самый раз, к лицу,  
как в итоге всему живому, с лица земли  
стираемому беззвучным всех клеток «пли».  
У вещей есть пределы. Особенно — их длина,  
несспособность сдвинуться с места. И наше право на  
«здесь» простиравшись не дальше, чем в ясный день  
клином падавшая в сугробы тень

## XII

древяного сарая. Глядя в другой пейзаж,  
будем считать, что клин этот острый — наш  
общий локоть, выдвинутый вовне,

которого ни тебе, ни мне  
не укусить, ни, подавно, поцеловать.  
В этом смысле, мы слились, хотя кровать  
даже не скрипнула. Ибо она теперь  
целый мир, где тоже есть сбоку дверь,  
которая — точно слышала где-то звон —  
годится только, чтоб выйти вон.

## ГОРЕНИЕ

Зимний вечер. Дрова  
ожженные огнем —  
как женская голова  
ветреным ясным днем.

Как золотится прядь,  
слепотою грозя!  
С лица ее не убрать.  
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,  
гребнем не разделить:  
может открыться взор,  
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.  
На языке огня  
раздается «Не тронь»  
и вспыхивает «меня!»

От этого — горячо.  
Я слышу сквозь хруст в кости  
захлебывающееся «еще!»  
и бешеное «пусти!»

Пылай, пылай предо мной,  
рваное, как блатной,  
как безумный портной,  
пламя еще одной

зимы! Я узнаю  
патлы твои. Твою  
завивку. В конце концов —  
раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была  
прежде. Тебе не впрок

раздевшийся догола,  
скинувший все швырок.

Только одной тебе  
свойственно, вещь губя,  
приравниванье к судьбе  
сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,  
взвивающееся вовне,  
наряженное пестро,  
мы снова наедине!

Это твой жар, твой пыл!  
Не отпирайся! Я  
твой почерк не позабыл,  
обугленные края.

Как ни скрывай черты,  
но предаст тебя суть,  
ибо никто, как ты,  
не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,  
метнуться наперерез.  
Назорею б та страсть,  
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,  
захлебывайся собой.  
Как менада пляши  
с закусленною губой.

Вой, трепещи, тряси  
вволю плечом худым.  
Тот, кто вверху еси,  
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,  
обнажая места.

То промелькнет щека,  
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,  
так из развалин икр  
прядают, небеса  
вызвевши, сонмы искр.

Ты та же, какой была.  
От судьбы, от жилья  
после тебя — зола,  
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,  
пляска замерзших розг.  
**И как сплошной ожог —**  
не удержавший мозг.

1981

\* \* \*

То не Муза воды набирает в рот.  
То, должно, крепкий сон молодца берет.  
И махнувшая вслед голубым платком  
наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам,  
как назад в осиновый строй дровам.  
И глазами по наволочке лицо  
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести  
одеял в том садке, где — Господь прости —  
точно рыба — воздух, сырой губой  
я хватал что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу,  
наглотался бы в лесах за тебя свинцу,  
но и в черном пруду из дурных коряг  
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Но, видать, не судьба, и года не те.  
И уже седина стыдно молвить где.  
Больше длинных жил, чем для них кровей,  
да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.  
Нарисуй на бумаге простой кружок.  
Это буду я: ничего внутри.  
Посмотри на него, и потом сотри.

1980

\* \* \*

Я был только тем, чего  
ты касалась ладонью,  
над чем в глухую, воронью  
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты  
там, внизу, различала:  
смутный облик сначала,  
много позже — черты.

Это ты, горяча,  
ощую, одесную  
раковину ушную  
мне творила, шепча.

Это ты, теребя  
штору, в сырую полость  
рта вложила мне голос,  
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.  
Ты, возникая, прячась,  
даровала мне зрячсть.  
Так оставляют след.

Так творятся миры.  
Так, сотворив, их часто  
оставляют вращаться,  
расточая дары.

Так, бросаем то в жар,  
то в холод, то в свет, то в темень,  
в мирозданья потерян,  
кружится шар.

1981

## СИДЯ В ТЕНИ

### I

Ветреный летний день.  
Прижавшееся к стене  
дерево и его тень.  
И тень интересней мне.  
Тропа, получив плетей,  
убегает к пруду.  
Я смотрю на детей  
бегающих в саду.

### II

Свирепость их резвых игр,  
их безутешный плач  
смутили б грядущий мир,  
если бы он был зряч.  
Но порок слепоты  
время приобрело  
в результате лапты,  
в которую нам везло.

### III

Остеклянелый кирпич  
царапает голубой  
купол как паралич  
нашей мечты собой  
пространство одушевить;  
внешность этих громад  
может вас пришибить,  
мозгу поставить мат.

## IV

Новый пчелиный рой  
эти ульи займет,  
производя жилой,  
электрический мед.  
Дети вытеснят нас  
в пригородные сады  
памяти — тешить глаз  
формами пустоты.

## V

Природа научит их  
тому, что сама в нужде  
зазубрила, как стих:  
времени и т.д.  
Они снабдят цифру «100»  
завитками плюща,  
если не вечность, то  
постоянство ища.

## VI

Ежедневная ложь  
и жужжение мух  
будут им невтерпеж,  
но разовьют их слух.  
Зуб отличит им медь  
от серебра. Листва  
их научит шуметь  
голосом большинства.

## VII

После нас — не потоп,  
где довольно весла,  
но наважденье толп,

множественного числа.  
Пусть торжество икры  
над рыбой еще не грех,  
но ангелы — не комары,  
и их не хватит на всех.

## VIII

Ветреный летний день.  
Запахи нечистот  
затмевают сирень.  
Брюзжа, я брюзжу как тот,  
кому застать повезло  
уходящий во тьму  
мир, где делая зло,  
мы знали еще — кому.

## IX

Ветреный летний день.  
Сад. Отдаленный рев  
полицейских сирен  
как грядущее слов.  
Птицы клюют из урн  
мусор взамен пшена.  
Голова, как Сатурн,  
болью окружена.

## X

Чем искреннее певец,  
тем все реже, увы,  
давешний бубенец  
вибрирует от любви.  
Пробовавшая огонь,  
трогавшая топор,  
сильно вспотев, ладонь  
не потреплет вихор.

## XI

Это — не страх ножа  
или новых тенет,  
но того рубежа,  
за каковым нас нет.  
Так способен Луны  
снимок насторожить:  
жизнь, как меру длины,  
не к чему приложить.

## XII

Тысячелетье и век  
сами идут к концу,  
чтоб никто не прибег  
к бомбе или к свинцу.  
Дело столь многих рук  
гибнет не от меча,  
но от дешевых брюк,  
скинутых сгоряча.

## XIII

Будущее черно,  
но от людей, а не  
оттого, что оно  
черным кажется мне.  
Как бы беря взаймы,  
дети уже сейчас  
видят не то, что мы;  
безусловно не нас.

## XIV

Взор их неуловим.  
Жилистый сорванец,  
уличный херувим,

впившийся в леденец,  
из рогатки в саду  
целясь по воробью,  
не думает — «попаду»,  
но убежден — «убью».

## XV

Всякая зоркость суть  
знак сиротства вещей,  
не получивших грудь.  
Апофеоз прыщей  
вооружен зрачком,  
вписываясь в чай круг,  
видимый мир — ничком  
и стоймя — близорук.

## XVI

Данный эффект — порок  
только пространства, впрок  
не запасшего клок.  
Так глядит в потолок  
падающий в кровать;  
либо — лишенный сна —  
он же, чего скрывать,  
забирается на.

## XVII

Эта песнь без конца  
есть результат родства,  
серенада отца,  
ария меньшинства,  
петая сумме тел,  
в просторечье — толпе,  
наводнившей партер  
под занавес и т.п.

## XVIII

Ветреный летний день.  
Детская беготня.  
Дерево и его тень,  
упавшая на меня.  
Рваные хлопья туч.  
Звонкий от оплеух  
пруд. И отвесный луч  
— как липучка для мух.

## XIX

Впитывая свой сок,  
пачкая куст, тетрадь,  
множась, точно песок,  
в который легко играть,  
дети смотрят в ту даль,  
куда, точно грош в горсти,  
зеркало, что Стендаль  
брал с собой, не внести.

## XX

Наши развили черты,  
ухватки и голоса  
(знак большой нищеты  
природы на чудеса),  
выпятив челюсть, зоб,  
дети их исказят  
собственной злостью — чтоб  
не отступить назад.

## XXI

Так двигаются вперед,  
за горизонт, за грань.  
Так, продолжая род,

предает себя ткань.  
Так, подмешавши дробь  
в ноль, в лейкоциты — грязь,  
предает себя кровь,  
свертыванья страшась.

## XXII

В этом и есть, видать,  
роль материи во  
времени — передать  
*всё* во власть *ничего*,  
чтоб заселить верто-  
град голубой мечты,  
разменявши *ничто*  
на собственные черты.

## XXIII

Так в пустыне шатру  
слышится тамбурин.  
Так в попыхах икру  
мечут в ультрамарин.  
Так марают листы  
запятая, словцо.  
Так говорят «лишь ты»,  
заглядывая в лицо.

июнь, 1983

\* \* \*

Точка всегда обозримей в конце прямой.  
Веко хватает пространство, как воздух — жабра.  
Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой»,  
вырывается с шумом абраcadабра.  
Вычитанье, начавшееся с юлы  
и т.п., подбирается к внешним данным;  
паутиной окованные углы  
придают сходство комнате с чемоданом.  
Дальше ехать некуда. Дальше не  
отличить златоуста от златоротца.  
И будильник так тикает в тишине,  
точно дом через десять минут взорвется.

## К УРАНИИ

*И. К.*

У всего есть предел: в том числе, у печали.  
Взгляд застrevает в окне, точно лист — в ограде.  
Можно налить воды. Позвенеть ключами.  
Одиночество есть человек в квадрате.  
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.  
Пустота раздвигается, как портьера.  
Да и что вообще есть пространство, если  
не отсутствие в каждой точке тела?  
Оттого-то Урания старше Клио.  
Днем, и при свете слепых коптилок,  
видишь: она ничего не скрыла  
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.  
Вон они, те леса, где полно черники,  
реки, где ловят рукой белугу,  
либо — город, в чьей телефонной книге  
ты уже не числишься. Дальше, к югу,  
то есть, к юго-востоку, коричневеют горы,  
бродят в осоке лошади-пржевали;  
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,  
и простор голубеет, как белье с кружевами.

**ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ**



\* \* \*

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.  
В эту пору — разгул Пинкertonам,  
и себя настигаешь в любом естестве  
по небрежности оттиска в оном.  
За такие открытия не требуют мзды;  
тишина по всему околотку.  
Сколько света набилось в осколок звезды,  
на ночь глядя! как беженцев в лодку.  
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,  
отщепенец, стервец, вне закона.  
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —  
пар клубами, как профиль дракона.  
Помолись лучше велух, как второй Назорей,  
за бредущих с дарами в обеих  
половинках земли самозванных царей  
и за всех детей в колыбелях.

\* \* \*

Ночь, одержимая белизной  
кожи. От ветреной резеды,  
ставень царапающей, до резной  
мелко вздрагивающей звезды,  
ночь, всеми фибрами трепеща  
как насекомое, льнет, черна,  
к лампе, чья выпуклость горяча,  
хотя абсолютно отключена.  
Спи. Во все двадцать пять свечей,  
добыча сонной белиберды,  
сумевшая не растерять лучей,  
преломившихся о твои черты,  
ты тускло светишься изнутри,  
покуда, губами припав к плечу,  
я, точно книгу читая при  
тебе, сезам по складам шепчу.

## МУХА

### I

Пока ты пела, осень наступила.

Лучина печку растопила.

Пока ты пела и летала,  
похолодало.

Теперь ты медленно ползешь по глади  
замызганной плиты, не глядя  
туда, откуда ты взялась в апреле.

Теперь ты еле

передвигаешься. И ничего не стоит  
убить тебя. Но, как историк,  
смерть для которого скучней, чем мука,  
я медлю, муха.

### II

Пока ты пела и летала, листья  
падали. И легче литься  
воде на землю, чтоб назад из лужи  
возвряться вчуже.

А ты совсем, видать, ослепла. Можно  
представить цвет крупинки мозга,  
померкшей от твоей, брускатке  
сродни, сетчатки,

и содрогнуться. Но тебя, пожалуй,  
устраивает дух лежалый  
жилья, зеленых штор понурость.  
Жизнь затянулась.

### III

Ах, цокотуха, потерявши юркость,  
ты выглядишь, как старый юнкерс,  
как черный кадр документальный  
эпохи дальней.

Не ты ли заполночь там то и дело  
над люлькою моей гудела,  
гонимая в оконной раме  
прожекторами?

А нынче, милая, мой желтый ноготь  
брюшко твое горазд потрогать,  
и ты не вздрагиваешь от испуга,  
жуужжа, подруга.

### IV

Пока ты пела, за окошком серость  
усилилась. И дверь расселась  
в пазах от сырости. И мерзнут пятки.  
Мой дом в упадке.

Но не пленить тебя ни пирамидой  
фаянсовой давно не мытой  
посуды в раковине, ни палаткой  
сахары сладкой.

Тебе не до того. Тебе не  
до мельхиоровой их дребедени;  
с ней связываться — себе дороже.  
Мне, впрочем, тоже.

V

Как старомодны твои крылья, лапки!  
В них чудится вуаль прабабки,  
смешавшаяся с позавчерашней  
французской башней —

— век номер девятнадцать, словом.  
Но, сравнивая с тем и овом  
тебя, я обращаю в прибыль  
твою погибель,

подталкивая ручкой подлой  
тебя к бесплотной мысли, к полной  
неосязаемости раньше срока.

Прости: жестоко.

VI

О чем ты грезишь? О своих избитых,  
но не расчитанных никем орбитах?

О букве шестирукой, ради  
тебя в тетради,

расхристанной на месте плоском  
кириллицыным отголоском  
единственным, чей цвет, бывало,  
ты узнавала

и вспархивала. А теперь, слепая,  
не реагируешь ты, уступая  
плацдарм живым брюнеткам, женским  
ужимкам, жестам.

## VII

Пока ты пела и летала, птицы  
отсюда отбыли. В ручьях плотицы  
убавилось, и в рощах пусто.  
Хрустит капуста

в полях от холода, хотя одета  
по-зимнему. И бомбай где-то  
будильник тикает, лицом неточен,  
и взрыв просрочен.

А больше — ничего не слышно.  
Дома отбрасывают свет покрышно  
обратно в облако. Трава пожухла.  
Немного жутко.

## VIII

И только двое нас теперь — заразы  
разносчиков. Микроны, фразы  
равно способны поражать живое.  
Нас только двое:

твоё страшашеёся смерти тельце,  
мои, играющие в земледельца  
с образованием примерно восемь  
пудов. Плюс осень.

Совсем испортилась твоя жужжалка!  
Но времени себя не жалко  
на нас растрачивать. Скажи спасибо,  
что — неспесиво,

## IX

что совершенно не брезгливо. Либо  
не чувствует, какая липа  
ему подсовывается в виде вялых  
больших и малых

пархатостей. Ты отлеталась.  
Для времени, однако, старость  
и молодость неразличимы.  
Ему причины

и следствия чужды де-юре,  
а данные в миниатюре  
— тем более. Как пальцам в спешке  
— орлы и решки.

## X

Оно, пока ты там себе мелькала  
под лампочкою вполнакала,  
спасаясь от меня в стропила,  
таким же было,

как и сейчас, когда с бесцветной пылью  
ты сблизилась, благодаря бессилью  
и отношению ко мне. Не думай  
с тоской угрюмой,

что мне оно — большой союзник.  
Глянь, милая: я — твой соузник,  
подельник, закадычный кореш;  
срок не ускоришь.

## XI

Снаружи осень. Злополучье голых  
ветвей кизиловых. Как при монголах:  
брак серой низкорослой расы  
и желтой массы.

Верней — сношения. И никому нет дела  
до нас с тобой. Мной овладело  
оцепенение — сиречь, твой вирус.  
Ты б удивилась,

узнав, как сильно заражает, сонность  
и безразличие рождая, склонность  
расплачиваться с планетой  
ее монетой.

## XII

Не умирай! сопротивляйся, ползай!  
Существовать не интересно с пользой.  
Тем паче, для себя: казенной.  
Честней без оной

смущать календари и числа  
присутствием, лишенным смысла,  
доказывая посторонним,  
что жизнь — синоним

небытия и нарушенья правил.  
Будь помоложе ты, я б взор направил  
туда, где этого в избытке. Ты же  
стара и ближе.

## XIII

Теперь нас двое, и окно с поддувом.  
Дождь стекла пробует нетвердым клювом,  
нас защриховывая без нажима.  
Ты недвижима.

Нас двое, стало быть. По крайней мере,  
когда ты кончишься, я факт потери  
отмечу мысленно — что будет эхом  
твоих с успехом

когда-то выполненных мертвых петель.  
Смерть, знаешь, если есть свидетель,  
отчетливее ставит точку,  
чем в одиночку.

#### XIV

Надеюсь всё же, что тебе не больно.  
Боль места требует и лишь окольно  
к тебе могла бы подобраться, с тыла,  
накрыть. Что было

бы, видимо, моей рукою.  
Но пальцы заняты пером, строкою,  
чернильницей. Не умирай, покуда  
не слишком худо,

покамест дергаешься. Ах, гумозка!  
Плевать на состоянье мозга:  
вещь, вышедшая из повиновенья,  
как то мгновенье,

#### XV

по-своему прекрасна. То есть,  
заслуживает, удостоясь  
ovationii наоборот, продлиться.  
Страх суть таблица

зависимостей между личной  
беспомощностью тел и лишней  
секундой. Выражаясь сухо,  
я, цокотуха,

пожертвовать своей согласен.  
Но вроде этот жест напрасен:  
сдает твоя шестёрка, Шива.  
Тебе паршиво.

## XVI

В провалах памяти, в ее подвалах,  
среди ее сокровищ — палых,  
растаявших и проч. (вообще их  
ни при кощеях

не пересчитывали, ни, тем паче,  
позднее) среди этой сдачи  
с существования, приют нежесткий  
твою тезкой

неполною, по кличке Муза,  
уже готовится. Отсюда, муха,  
длинноты эти, эта как бы свита  
букв, алфавита.

## XVII

Снаружи пасмурно. Мой орган тренья  
о вещи в комнате, по кличке зренья,  
сосредотачивается на обоях.  
Увы, с собой их

узор насиженный ты взять не в силах,  
чтоб ошараширить серафимов хилых  
там, в эмпиреях, где царит молитва,  
идеей ритма

и повторимости, с их колокольни —  
бессмысленной, берущей корни  
в отчаянья, им — насекомым  
туч — незнакомом.

## XVIII

Чем это кончится? Мушиным Раем?  
Той пасекой, верней — сараев,  
где над малиновым вареньем сонным  
кружатся сонмом

твои предшественницы, издавая  
звук поздней осени, как мостовая  
в провинции. Но дверь откроем —  
и бледным роем

они рванутся мимо нас обратно  
в действительность, ее опрятно  
укутывая в плотный саван  
зимы — тем самым

## XIX

подчеркивая — благодаря мельканью, —  
что души обладают тканью,  
материей, судьбой в пейзаже;  
что, цвета сажи,

вещь в колере — чем бить баклуши —  
меняется. Что, в сумме, души  
любое превосходят племя.  
Что цвет есть время

или стремление за ним угнаться,  
великого Галикарнасца  
цитируя то в фас, то в профиль  
холмов и кровель.

## XX

Отпрянув перед бледным вихрем,  
узнаю ли тебя я в ихнем  
заведомо крылатом войске?  
И ты по-свойски

спланируешь на мой затылок,  
соскучившись вдали опилок,  
чым шорохом весь мир морочим?  
Едва ли. Впрочем,

дав дуба позже всех — столетней! —  
ты, милая, меж них последней  
окажешься. И если примут,  
то местный климат

## XXI

с его капризами в расчет принявши,  
спешащую сквозь воздух в наши  
пределы я тебя увижу  
весной, чью жижу

топча, подумаю: звезда сорвалась,  
и, преодолевая вялость,  
рукой вслед махну. Однако  
не Зодиака

то будет жертвой, но твоей душою,  
летящую совпасть с чужою  
личинкой, чтоб явить навозу  
метаморфозу.

\* \* \*

Вечер. Развалины геометрии.  
Точка, оставшаяся от угла.  
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.  
Так раздеваются догола.

Но — останавливаются. И заросли  
скрывают дальнейшее, как печать  
содержанье послания. А казалось бы —  
с лабии и начать...

Луна, изваянная в Монголии,  
прижимает к бесчувственному стеклу  
прыщавую, лезвиями магнолии  
гладко выбритую скулу.

Как войску, пригодному больше к булочным  
очередям, чем кричать «ура»,  
настоящему, чтоб обернуться будущим,  
требуется вчера.

Это — комплекс статуй, сливаясь с теменем  
согласной, внутренности скрепя.  
Человек отличается только степенью  
отчаяния от самого себя.

## НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВЕЙЛИНКА

### I

Почти пейзаж. Количество фигур,  
в нем возникающих, идет на убыль  
с наплывом статуй. Мрамор белокур,  
как наизнанку вывернутый уголь,  
и местность мнится северной. Плато;  
гиперборей, взъерошивший капусту.  
Всё так горизонтально, что никто  
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

### II

Возможно, это — будущее. Фон  
расказания. Мести сослуживцу.  
Глухого, но отчетливого «вон!».  
Внезапного приема джиу-джитсу.  
И это — город будущего. Сад,  
чьи заросли рассматриваешь в оба,  
как ящерица в тропиках — фасад  
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

### III

Возможно также — прошлое. Предел  
отчаяния. Общая вершина.  
Глаголы в длинной очереди к «л».  
Улегшаяся буря крепдешина.  
И это — царство прошлого. Тропы,  
заглохнувшей в действительности. Лужи,  
хранящей отраженья. Скорлупы,  
увиденной яичницей снаружи.

## IV

Бесспорно — перспектива. Календарь.  
Верней, из воспалившихся гортаней  
туннель в психологическую даль,  
свободную от наших очертаний.  
И голосу, подробнее, чем взор,  
знакомому с ландшафтом неуспеха,  
сподручней выбрать большее из зол  
в расчете на чувствительное эхо.

## V

Возможно — натюрморт. Издалека  
всё, в рамку заключенное, частично  
мертво и неподвижно. Облака.  
Река. Над ней кружящаяся птичка.  
Равнина. Часто именно она,  
принять другую форму не умев,  
становится добычей полотна,  
открытки, оправданьем Птоломея.

## VI

Возможно — зебра моря или тигр.  
Смесь скинутого платья и преграды  
облизывает щиколотки икр  
к загару неспособной балюстрады,  
и время, мнится, к вечеру. Жара;  
сняв потный молот с пыльной наковальни,  
настойчивое соло комара  
кончается овациями спальни.

## VII

Возможно — декорация. Дают  
«Причины Нечувствительность к Разлуке  
со Следствием». Приветствуя уют,

певцы не столь нежны, сколь близоруки,  
и «до» звучит как временное «от».  
Блестящее, как капля из-под крана,  
вибрируя, над проволокой нот  
парит лунообразное сопрано.

### VIII

Бессспорно, что — портрет, но без прикрас:  
поверхность, чьи землистые оттенки  
естественно приковывают глаз,  
тем более — поставленного к стенке.  
Поодаль, как уступка белизне,  
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,  
спиной чуя брошенный извне  
взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

### IX

Что, в сущности, и есть автопортрет.  
Шаг в сторону от собственного тела,  
поворнутый к вам в профиль табурет,  
вид издали на жизнь, что пролетела.  
Вот это и зовется «мастерство»:  
способность не страшиться процедуры  
небытия — как формы своего  
отсутствия, списав его с натуры.

1984

\* \* \*

Я входил вместо дикого зверя в клетку,  
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,  
жил у моря, играл в рулетку,  
обедал черт знает с кем во фраке.  
С высоты ледника я озирал полмира,  
трижды тонул, дважды бывал распорот.  
Бросил страну, что меня вскормила.  
Из забывших меня можно составить город.  
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,  
надевал на себя что сызнова входит в моду,  
сеял рожь, покрывал черной только гумна  
и не пил только сухую воду.  
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,  
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.  
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;  
перешел на шепот. Теперь мне сорок.  
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.  
Только с горем я чувствую солидарность.  
Но пока мне рот не забили глиной,  
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980 г.

## ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ

Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом ветра. Автомобили катятся по булыжной мостовой, точно вода по рыбам Гудзона. Еще слышный голос, принадлежащий Музе, звучащий в сумерках как ничей, но ровный как пенье зазимовавшей мухи, нашептывает слова, не имеющие значенья.

Неразборчивость буквы. Всклокоченная капуста туч. Светило, наказанное за грубость прикосновенья. Чье искусство — отнюдь не нежность, но близорукость. Жизнь в рассеянном свете! и по неделям ничего во рту, кроме бычка и пива. Зимой только глаз сохраняет зелень, обжигая голое зеркало как крапива.

Ах, при таком освещении вам ничего не надо! Ни торжества справедливости, ни подруги. Очертания вещи, как та граната, взрываются, попадая в руки. И конечности коченеют. Это оттого, что в рассеянном свете холод демонстрирует качества силуэта — особенно, если предмет немолод.

Спеть, что ли, песню о том, что не за горами? о сходстве целого с половинкой о чувстве, будто вы забрали наоборот: в полнолуние, с финкой. Но никто, жилку надув на шее, не подхватят мотивчик ваш. Ни ценитель, ни нормальная публика: чем слышнее куплет, тем бесплотнее исполнитель.

\* \* \*

Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве  
все подозрительно: подпись, бумага, числа.  
Даже ребенку скучно в такие цацки;  
лучше уж в куклы. Вот я и разучился.  
Теперь, когда мне попадается цифра девять  
с вопросительной шейкой (чаще всего, под утро)  
или (заполночь) двойка, я вспоминаю лебедь,  
плывущую из-за кулис, и пудра  
с потом щекочут ноздри, как будто запах  
набирается как телефонный номер  
или — шифр сокровища. Знать, погорев на злаках  
и серпах, я что-то все-таки сэкономил!  
Этой мелочи может хватить надолго.  
Сдача лучше хрусткой купюры, перила — лестниц.  
Брезгуга шелковой кожей, седая холка  
оставляет вообще далеко наездниц.  
Настоящее странствие, милая амazonка,  
начинается раньше, чем скрипнула половица,  
потому что губы смягчают линию горизонта,  
и путешественнику негде остановиться.

\* \* \*

В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой,  
и одна в углу говорила мне: «Молодой!  
Молодой, поди, кому говорю, сюда».  
И я шел, хотя голова у меня седа.

А в другой — красной дранкой свисали со стен ножи,  
и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи!»  
Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой,  
то в ней было просторней, чем в той, другой.

В третьей — всюду лежала толстая пыль, как жир  
пустоты, так как в ней никто никогда не жил.  
И мне нравилось это лучше, чем отчий дом,  
потому что так будет везде потом.

А четвертую рад бы вспомнить, но не могу,  
потому что в ней было как у меня в мозгу.  
Значит, я еще жив. То ли там был пожар,  
либо — лопнули трубы. И я сбежал.

## В ИТАЛИИ

*Роберто и Флер Калассо*

И я когда-то жил в городе, где на домах росли  
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»  
бегал местный философ, тряся бородкой,  
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.

Теперь там садится солнце, кариатид слепя.  
Но тех, кто любили меня больше самих себя,  
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом  
преследования, собаки принююхаются к объедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;  
голоса в отдалении, выкрики типа «гад!  
уйди!» на чужом наречье. Но нет ничего понятней.  
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.  
Человек, дожив до того момента, когда нельзя  
его больше любить, брезгую плыть противу  
бешеного теченья, прячется в перспективу.

1985

## СТРЕЛЬНА

Боярышник захлестнувший металлическую ограду.  
Бесконечность, велосипедной восьмёркой принюхивающаяся  
к коридору.

Воздух принадлежит летательному аппарату,  
и лёгким здесь делать нечего, даже откинув штору.

О, за образчик взявшись для штукатурки лунный  
кратер но каждой трещиной о грозовом разряде  
напоминавший флигель! отстраняемый рыжей дюной  
от кружевной комбинации бледной балтийской глади.

Тем и пленяла сердце — и душу! — окаменелость  
Амфитриты, тритонов, вывихнутых неловко  
тел, что у них впереди ничего не имелось,  
что фронтон и была их последняя остановка.

Вот откудова брались жанны, ядвиги, ляли,  
павлы, тезки, евгении, лентяи и чистоплюи;  
Вот заглядевшись в чье зеркало, потом они подставляли  
грудь под несчастья, как щёку под поцелуй.

Многие — собственно, все! — в этом, по крайней мере,  
мире стоят любви, как это уже проверил,  
не прекращая вращаться ни в стратосфере,  
ни тем паче в искусственном вакууме, пропеллер.

Поцеловать бы их вправду затяжным, как прыжок с  
парашютом, душным  
мокрым французским способом! Или — сменив кокарду  
на звезду в головах — ограничить себя воздушным  
чтоб воскреснуть, к губам прижимая, точно десантник,  
карту.

\* \* \*

Чем больше черных глаз, тем больше переносиц,  
а там до стука в дверь уже подать рукой.  
Ты сам себе теперь дымящий миноносец  
и синий горизонт, и в бурях есть покой.  
Носки от беготни крысиныя промокли.  
к лопаткам приросла бесцветная мишень.  
И к ней, как чешуя, прикованы бинокли  
не видящих меня смотря каких женьшень.  
У северных широт набравшись краски трезвой,  
(иначе — серости) и хлестких резюме,  
ни резвого свинца, ни обнаженных лезвий  
как собственной родни, глаз больше не бздюме.  
Питомец Балтики предпочитает Морзе!  
Для спасшейся души — естественней петит!  
И с уст моих в ответ на зимнее по морде  
сквозь минные поля эх яблочко летит.

\* \* \*

E. P.

Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке  
отражения город. Позвякивают куранты.  
Комната с абажуром. Ангелы вдалеке  
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.  
Я пишу тебе это с другой стороны земли  
в день рождения Христа. Снежное толковище  
за окном разражается искренним «ай-люли»:  
белизна размножается. Скоро Ему две тыщи  
лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда,  
завтра — четверг. Данную годовщину  
нам, боюсь, отмечать не добавляя льда,  
избавляя следующую морщину  
от ённой щеки; в просторечии вместе с Ним.  
Вот тогда мы и свидимся. Как звезда — селянина,  
через стенку пройдя, слух бередит одним  
пальцем разбуженное пианино.  
Будто кто-то там учится азбуке по складам.  
Или нет — астрономии, взглядываясь в начертанья  
личных имен там, где нас нету: там,  
где сумма зависит от вычитанья.

дек. 1985

## **НА ВИА ДЖУЛИА**

*Теодоре Л.*

Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора,  
Будто ты не растаяла в воздухе пропеллерною снежинкой  
и возникаешь в сумерках, как свет в конце коридора,  
двигаясь в сторону площади с мраморной пиш. машинкой,  
и мы встаем из-за столиков! Кочевника от оседлых  
отличает способность глотнуть ту же жидкость дважды.  
Не говоря об ангелах, не говоря о серых  
в яблоках, и поныне не утоливших жажды  
в местных фонтанах. Знать, велика пустыня  
за оградой собравшего рельсы в пучок вокзала!  
И струя буквально захлёбывается, вестимо  
оттого, что не всё еще рассказала  
о твоей красоте. Городам, Теодора, тоже  
свойственны лишние мысли, желанья счастья,  
плюс готовность придраться к оттенку кожи,  
к щиколоткам, к прическе, к длине запястья.  
Потому что становишься тем, на что смотришь, что близко  
видишь.  
С дальновзоркостью отприска джулий, октавий, ливий  
город смотрит тебе вдогонку, точно распутный витязь:  
чем длиннее улицы, тем города счастливей.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

### I

Годы проходят. На бурой стене дворца  
появляется трещина. Слепая швея, наконец, продевает  
нитку

в золотое ушко. И Святое Семейство, опав с лица,  
приближается на один миллиметр к Египту.

Видимый мир заселен большинством живых.  
Улицы освещены ярким, но посторонним  
светом. И по ночам астроном  
скрупулезно подсчитывает количество чаевых.

### II

Я уже не способен припомнить, когда и где  
произошло событие. То или иное.  
Вчера? Несколько дней назад? В воде?  
В воздухе? В местном саду? Со мною?

Да и само событие — допустим, взрыв,  
наводненье, ложь бабы, огни Кузбасса —  
ничего не помнит, тем самым скрыв  
либо меня, либо тех, кто спасся.

### III

Это, видимо, значит, что мы теперь заодно  
с жизнью. Что я сделался тоже частью  
шелестящей материи, чье сукно  
заражает кожу бесцветной мастью.

Я теперь тоже в профиль, верно, не отличим  
от какой-нибудь латки, складки, трико паяца,  
долей и величин, следствий или причин —  
от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться.

## IV

Тронь меня — и ты тронешь сухой репей,  
сырость, присущую вечеру или полдню,  
каменоломню города, ширь степей,  
тех, кого нет в живых, но кого я помню.

Тронь меня — и ты заденешь то,  
что существует помимо меня, не веря  
мне, моему лицу, пальто,  
то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеряя.

## V

Я говорю с тобой, и не моя вина  
если не слышно. Сумма дней, намозолив  
человеку глаза, так же влияет на  
связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.

Это — чтоб лучше слышать кукареку, тик-так,  
в сердце пластинки шаркающую иголку.  
Это — чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как  
Красная Шапочка не сказала волку.

## ЭЛЕГИЯ

Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы,  
к научившимся крылья расправлять у опасной бритвы  
или же — в лучшем случае — у удивленной брови  
птицам цвета то сумерек, то испорченной крови.

Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток, бронзой  
загорелых доспехов, погасшей улыбкой, грозной  
мыслию о свежих резервах, памятью об изменах,  
оттиском многих тел на выстиранных знамёнах.

Всё зарастает людьми. Развалины — род упрямой  
архитектуры, и разница между сердцем и черной ямой  
невелика — не настолько, чтобы бояться,  
что мы столкнемся однажды вновь, как слепые яйца.

По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит,  
я отправляюсь пешком к монументу, который отлит  
из тяжелого сна. И на нём начертано: Завоеватель.  
Но читается как «завыватель». А в полдень — как  
«забыватель».

\* \* \*

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,  
нет! как платформа с вывеской Вырица или Тарту.  
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,  
местности, нанесенные точно вчера на карту,  
и заполняют вакуум. Видимо, никому из  
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах  
недостаточно извести. «В нашей семье — волнуясь,  
ты бы вставила — не было ни военных,  
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям  
отраженье еще одной вещи невыносимо.  
Где там матери и ее кастрюлям  
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!  
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела  
тает, ссылаясь на неспособность клеток —  
то есть, извилин! — вспомнить, как ты хотела,  
пудря щеку, выглядеть напоследок.  
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,  
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда  
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,  
дребезжа, как сдаваемая посуда.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА**

„Как давно я топчу, видно по каблуку...”	7
Развивая Платона	8
Посвящается статуе	11
Шорох акации	15
„Восходящее желтое солнце следит косыми...”	16
Шведская музыка	17
Bagatella	18
Полдень в комнате	20
Роттердамский дневник	27
Над восточной рекой	28
Война в убежище Киприды	29
Строфы	30
«Барбизон Террас»	38
„Те, кто не умирают, живут...”	39
Новый Жюль Верн	40
„Помнишь свалку вещей на железном стуле...”	47
„Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...”	48
Осенний крик ястреба	49

### **K УРАНИИ**

Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова	55
„Восславим приход весны! Ополоснем лицо...”	65
„Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане...”	66
„Я распугивал ящериц в зарослях чаппарала...”	67
Полярный исследователь	68
„Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою...”	69
В Англии	74
I. Брайтон-рок	74
II. Северный Кенсингтон	74
III. Сохо	75
IV. Ист Финчли	76
V. Три рыцаря	77
VI. Йорк	78
VII. „Английские каменные деревни...”	80
Сан-Пьетро	81
Квинтет	85
Письма династии Минь	88

Элегия	90
Пьяцца Маттэй	91
Стихи о зимней кампании 1980-го года	97
Полонез: вариация	100
Венецианские строфы (1)	102
Венецианские строфы (2)	105
Резиденция	108
Ария	109
Римские элегии	111
Эклога 4-я (зимняя)	118
Эклога 5-я (летняя)	124
Прилив	132
Бюст Тиберия	135
В окрестностях Александрии	138
Келомякки	140
Горение	145
„То не муза воды набирает в рот...”	148
„Я был только тем, чего...”	149
Сидя в тени	150
„Точка всегда обозримей в конце прямой...”	157
К Урании	158

### *ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ*

„Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...”	161
„Ночь, одержимая белизной...”	162
Муха	163
„Вечер. Развалины геометрии”	173
На выставке Карла Вейлинка	174
„Я входил вместо дикого зверя в клетку...”	177
Жизнь в рассеянном свете	178
„Ты узнаешь меня по почерку.	
В нашем ревнивом царстве...”	179
„В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...”	180
В Италии	181
Стрельна	182
„Чем больше черных глаз, тем больше переносиц...”	183
„Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...”	184
На Виа Джуллиа	185
Послесловие	186
Элегия	188
„Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...”	189

**Книги И. Бродского**

**СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ (1965)**

**ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ (1970)**

**КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)**

**ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)**

**НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ (1983)**